



ТАТЬЯНА
АКСАКОВА-СИВЕРС



СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА



Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс

Семейная хроника

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49612823
Семейная хроника: Захаров; Москва; 2020
ISBN 978-5-8159-1575-6

Аннотация

Татьяна Александровна Аксакова (урожденная Сиверс) (1892–1981) – русская аристократка, дочь статского советника, генеалога и нумизмата Александра Александровича Сиверса. В 1914 году вышла замуж за Бориса Сергеевича Аксакова из рода Аксаковых и взяла фамилию мужа. Она прожила тяжелую жизнь, полную лишений и утрат: счастливое петербургское детство и московская юность сменились в 1935 году арестом и приговором к пяти годам ссылки, которую она отбывала в Саратове; в 1937 году вновь была арестована и приговорена к восьми годам исправительно-трудового лагеря; в 1943-м по болезни – досрочно освобождена и выслана в Вятские Поляны, в Кировской области, где и начала писать свою хронику. В 1957 году была полностью реабилитирована и в 1967 году вернулась в Ленинград. Умерла и похоронена в Ижевске на Южном кладбище, могила утрачена. Ее воспоминания – с конца девятнадцатого века до 60-х годов двадцатого – один из лучших образцов ныне

забытого жанра «семейной хроники» и один из лучших мемуаров о том сначала безоблачном, а потом грозном времени, в котором Татьяне Александровне выпало жить. Вообще судьба «Семейной хроники» несет в себе много непонятного. Она впервые вышла небольшим тиражом в Париже, в издательстве «Atheneum», в 1988 году. В 2005 году – в издательстве «Территория» тиражом в 1000 экз., удивительно маленьким по тем временам. В 2006-м издательство «Индрик» выпустило «Семейные хроники» тиражом еще меньше – 800 экз. Неудивительно, что прочесть эту книгу можно было, только скачав ее из интернета.

Содержание

Предыстория	6
Часть первая	33
Детство	33
В семье Шереметевых	66
Первая поездка за границу	105
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс Семейная хроника

Текст печатается по изданию: Т.А.Аксакова-Сиверс

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Atheneum Paris 1988

Благодарим режиссера Игоря Калядина, автора документального фильма «Аксаковы. Семейные хроники», за помощь, оказанную нам в поиске информации.

© Katherine Aksakoff-Dany, наследник, 2019

© «Захаров», 2020

* * *

Предыстория

В ночь на 1 марта 1821 года в селце Аладино Козельского уезда Калужской губернии был большой пожар. Дотла сгорел двухэтажный барский дом, построенный сенатором Кожиным для своей дочери Александры Николаевны при выдаче ее замуж за небогатого помещика Афанасия Андреевича Чебышёва. Молва гласила, что виновником пожара был сам владелец Чебышёв, подверженный припадкам безумия. Семейное несчастье – лишение крова – осложнилось тем, что во время пожара Александра Николаевна почувствовала себя плохо. Ее на простынях перенесли в деревню, где и появился на свет мой прадед, будущий участник обороны Севастополя и впоследствии адмирал Петр Афанасьевич Чебышёв. Он был шестым ребенком в семье. Старше были два брата и три сестры.

После пожара Александра Николаевна, будучи женщиной энергичной, взяла бразды правления в свои руки. Ее ненормальный супруг был сначала отстранен от всяких дел, а потом, так как состояние его здоровья все ухудшалось, из села Березничи, под Козельском, был призван на помощь предводитель дворянства князь Оболенский, который определил и даже сам отвез несчастного Афанасия Андреевича в Хлюстинскую больницу в Калуге, где тот в конце концов и умер. Оправившись от потрясения, Александра Николаевна

принялась за постройку нового дома, на этот раз не каменного, а деревянного. В середине 20-х годов был закончен этот столь типичный для средней полосы России помещичий дом с четырьмя белыми колоннами, мезонином, полукруглым окном на фронте и террасой, которая широкой лестницей спускалась в сад, обвитая хмелем и диким виноградом. Этот дом простоял сто лет, видел в своих стенах пять поколений одной семьи и погиб в огне, когда, после революции, нас уже там не было. (В доме поселился лесничий, и крестьяне сожгли дом, думая таким образом избавиться от лесной конторы.)

Лишь я, волею судеб, находилась в начале 20-х годов поблизости от родных мест. Живя летом 1922 года в Козельске, я пешком, с рюкзаком за плечами, совершила грустное паомничество в село Субботники на семейное кладбище. Оттуда я прошла в Аладино, посмотрела на обгорелые бревна и трубы, побродила по заглухшим дорожкам сада, посидела на разломанной скамейке под липой, посаженной моим отцом в год моего рождения. От имени всех, выросших в этом месте, я простилась с Аладиным, как с дорогим покойником, но мне еще осталось написать ему некролог. Поэтому я возвращаюсь на сто лет назад и начинаю «историю одной семьи».

Старшая дочь Чебышёвых, Анна Афанасьевна, оказалась для матери незаменимой помощницей. Семейное предание гласит, что она отказалась от весьма желательного брака, чтобы воспитывать младших братьев и сестер. Удивительно,

что провинциальная барышня оказалась настолько образованной, что сама подготовила брата Петра к поступлению в Морской корпус. Преподавание велось на французском языке, и мы, дети, много лет спустя находили на чердаке полуистлевшие учебники, с которыми проходили эти занятия.

Вторая дочь Чебышёвых, Евдокия Афанасьевна, была не столь умна, зато отличалась необычайной добротой. Она постоянно ходила на деревню, оказывая помощь нуждающимся, и завещала похоронить себя не в церковной ограде, а на общем кладбище, среди своих деревенских друзей. Эта ее воля была исполнена, и когда в поминальные дни мы ездили в церковь, то после общей панихиды на могилах родственников отправлялись на заросшее бурьяном и крапивой сельское кладбище к тетушке Додо. Третья дочь, Мария Афанасьевна, умерла молодой.

Барышни Чебышёвы были в дружбе с княжнами Шаховскими – между Аладиным и имением Белая Колпь Волоколамского уезда Московской губернии велась оживленная переписка, часть которой сохранилась в аладинском чердачном архиве. Подруги были настроены экзальтированно-патриотически, выражались возвышенным слогом (конечно, по-французски) и мечтали о подвигах самопожертвования.

В мое время в Аладине, рядом со столовой, была небольшая полутемная комната, увешанная портретами работы домашних мастеров. В этой комнате никто не жил, там хранились яблоки, висели охотничьи ружья и стоял жесткий ди-

ван, на котором в 1891 году умер прадед Петр Афанасьевич. Простые часы-ходики были остановлены в час его кончины. Нам, детям, запрещали садиться на диван, и всю комнату окружал всяческий пиетет. Среди портретов, висевших на стенах, были изображения двух черноглазых барышень в открытых платьях с красными лентами. Лица их были совершенно одинаковы, только одна смотрела направо, а другая – налево. Это были портреты княжон Шаховских, которые в 20-х годах XIX века иногда приезжали в Аладино. Этими посещениями и ответными визитами сестер Чебышёвых в Белую Колпь и исчерпывались развлечения аладинской жизни того времени.

Когда же старший брат Николай уехал в Петербург на военную службу, а младший – в Морской корпус, в Аладине стало совсем скучно. Соседей было мало, местность была небогатая, Калуга со своими уездами вполне оправдывала название, данное ей императором Николаем I, – «Бесприданная красавица». Суглинистая почва давала скудные урожаи, и единственное богатство края составляли яблоневые сады.

Однако для всех аладинцев эта скромная природа имела неизъяснимую прелесть – обилие зелени всевозможных оттенков, от пепельной ракиты до бархатисто-изумрудной ели, придавало ландшафту разнообразный и приятный колорит. Небольшие речки, пересеченные плотинами с вертящимися колесами водяных мельниц, образовывали тихие пруды, к берегам которых спускались густые коноплянники с поко-

сившимися плетнями. Там всегда было прохладно, заливались лягушки, крикали утки и стоял дурманящий запах конопли.

Екатерининские дороги, усаженные березами, прорезали волнистую долину, связывая Калугу с ее уездами и заштатными городками (таких городов, разжалованных в села, было три: Сухиничи, Воротыньск и Серпеск). По этим дорогам на протяжении ста лет с одинаково радостным замиранием сердца подъезжали к Аладину все те, кому оно было родным. В стенах осажденного Севастополя, на берегах Средиземного моря, на улицах Парижа, на волнах Тихого океана – всюду, куда только судьба их ни закидывала, они чувствовали, что есть кусочек земли, который им дороже всех прекрасных мест на свете.

Мне это настроение было передано моей бабушкой Александрой Петровной, которая, несмотря на свой французский брак, сумела если не все, то многие иностранные влияния подчинить русскому, круто держа, как дочь моряка, курс на Россию и Аладино.

Прадед мой (а ее отец), будучи подготовлен своей сестрой, поступил в Морской корпус в 1831 году. В 1838-м он плавает у абхазских берегов Черного моря, принимает участие в боях против горцев, получает ранение в бок навывлет, производится в мичманы в 1840 году и в лейтенанты в 1841-м. В 1847 году он женится на дочери генерал-лейтенанта флота Григория Афанасьевича Польского, Юлии Григорьевне. Су-

дя по портретам и отзывам ее дочерей, Юлия Григорьевна была красива, но следов этой красоты в старости, когда я ее видела, заметить было нельзя.

Родившаяся у Чебышёвых в 1848 году дочь Сашенька в возрасте пяти лет была привезена к бабушке в Аладино, где жил в то время и ее двоюродный брат Коля Чебышёв, сын Николая Афанасьевича, женатого на [Софье] Глинке. Мальчика взяла на воспитание тетушка Анна Афанасьевна, применявшая в этом деле педагогические рецепты Жан-Жака Руссо. Она побуждала десятилетнего Колю, в котором души не чаяла, каждый вечер беседовать со своей совестью и заносить итоги этих бесед в дневник. В результате появлялись такие записи: «J'ai pense a Moise – J'ai vole une pomme» («Размышлял о Моисее. Украл яблоко»). В возрасте двенадцати лет этот мальчик умер, упав с лошади.

Ближайшим к Аладину соседним имением было находившееся в восьми верстах село Колодези. В XVIII веке оно принадлежало сибирскому губернатору Богданову, а потом перешло к его дочерям Кавериной и Щербачевой. Александра Николаевна Чебышёва ездила к соседкам и возила туда внучку Сашеньку. Каверина – красивая старуха неукротимого нрава – была известна всей округе своим самодурством. Рассказывали, что, когда у нее болели ноги, она посылала крепостную девку в молельную за великомученицей Варварой и заставляла прикладывать икону к ногам. Если наступало

улучшение, то святой служили молебен, если улучшения не наступало, давалось распоряжение повесить икону «носом к стенке». Сестра Щербачева, тихая и добрая женщина, очень страдала от подобных выходов.

Приходом Аладина считалось стоявшее в двух верстах село Субботники. В мое время помещичьего дома там не было, но в 80-х годах в Субботниках еще жила помещица Наталия Николаевна Комарова, фрейлина двора. Под конец жизни она была так бедна, что выходила к гостям, завернувшись в старую бархатную портьеру, но имела при этом вид королевы. Рассказывали, что она когда-то пользовалась особым расположением великого князя Михаила Павловича. В память об их совместном пребывании в Италии остались две раскрашенные гравюры Неаполя с дымящимся Везувием, которые были куплены у Комаровой и висели в диванной, самой уютной комнате аладинского дома. В церкви села Субботников находилась икона св. Севастьяна, пронзенного стрелами: у святого были красивые темные глаза и маленький рот. По словам старожилов, моделью для иконописца служила Наталия Николаевна.

Во время Крымской кампании Петр Афанасьевич Чебышёв, как и все моряки Черноморского флота, вошел в состав гарнизона осажденного Севастополя (4-й бастион, 10-я Приморская батарея). Десятого мая 1855 года он был контужен в голову, получил ожог лица и поражение глаза. После этих событий, в феврале 1856 года, Александра Николаевна Че-

бышёва с внучкой Сашенькой отправилась на богомолье в Мещовский монастырь. Время было тревожное – приходили плохие вести с театра военных действий. В памяти девочки ярко запечатлелось, как бабушке подали газету в траурной рамке и она, закрыв лицо руками, воскликнула: «Боже мой. Петрушу убили!», не сообразив сгоряча, что ради Петруши траурной рамки не поместили бы. Это было известие о смерти императора Николая I.

В том же 1856 году, после окончания войны, Петр Афанасьевич был награжден орденом св. Георгия 4-й степени за восемнадцать морских кампаний и переведен в Кронштадтский порт, а два года спустя назначен командиром корвета «Медведь» в Средиземное море. Семью свою, состоявшую к тому времени из жены и двух дочерей, Александры и Валентины, он перевез во Францию.

В 1858 году Сашенька Чебышёва впервые совершила рейс Аладино – Париж, рейс, который потом стал столь привычным в нашей семье. После привольной жизни у бабушки в деревне она попала в пансион с монастырским уставом и невольно начала идеализировать прошлое. Большая любовь к России сохранилась в ней до последних дней, несмотря на то, что события ее личной жизни должны были бы способствовать уклонению ее с этого русофильского пути.

Четырнадцатилетним подростком она встретила у одной из своих подруг молодого человека из состоятельной патриархальной парижской семьи (бельгийского происхождения)

Гастона Александровича Эшена (Euchene). Эшенам принадлежал большой кусок земли на берегу Сены, в Пасси, на котором впоследствии был построен выставочный дворец Трокадеро. Сашенька дала Гастону слово выйти за него замуж и семь лет нерушимо держала это полудетское обещание. Между тем Петр Афанасьевич, переведенный на Дальний Восток, плавал в Японском море и Тихом океане.

Тут уместно сказать несколько слов о создавшейся в то время политической обстановке. В 1863 году президент Североамериканских Штатов Линкольн обратился к императору Александру II с просьбой оказать моральную поддержку Северным Штатам в их войне с рабовладельческим Югом. В ответ на это две русские эскадры – одна с востока, а другая с запада – направились к берегам Америки для устрашения англичан, готовых вступить за южан. Через Атлантический океан шла эскадра под флагом контр-адмирала Лесовского (причем на борту одного из судов – на «Алмазе» – находился 19-летний мичман Николай Римский-Корсаков), а через Тихий океан шла эскадра под флагом контр-адмирала Попова. В состав последней входил корвет «Богатырь», командиром которого был Петр Афанасьевич Чебышёв.

Двадцать третьего октября, когда «Богатырь» стоял на рейде Сан-Франциско, в порту возник грандиозный пожар, поглотивший целый квартал, прилегающий к набережной. Команда «Богатыря», числом в двести человек, немедленно явилась к месту катастрофы для оказания помощи, и че-

рез несколько дней муниципалитет города Сан-Франциско поднес командиру корабля, офицерам и команде резолюцию благодарности за «ценные, своевременные и энергичные услуги, столь благородно оказанные русскими моряками».

В конце 60-х годов Петр Афанасьевич, отозванный в Петербург, переводится на службу в Адмиралтейство, и его семья покидает Париж. В день своего совершеннолетия Александра Петровна, верная данному ею слову, вызывает своего жениха в Петербург и венчается с ним сначала в сенатской, а потом в католической церкви.

Брак бабушки и дедушки с материнской стороны был самым (чтобы не сказать единственным) счастливым браком, который мне довелось видеть в жизни. Чтобы быть вполне объективной, нужно признать, что согласие достигалось ценою полного подчинения дедушки образу мыслей, вкусам и привычкам жены – он был заранее согласен со всем, что она скажет. Бабушка и дедушка прожили всю жизнь не разлучаясь и не ведая сильных потрясений. Последние годы их жизни в счет не идут, так как тут произошло крушение старого мира. В 1919 году бедные старики остались одни в холодном и голодном Петрограде. Я находилась в Козельске и не могла приехать, ибо железные дороги выбыли из строя. С бабушкой и дедушкой, к счастью, оставались их преданные слуги, а навещал и хоронил их мой отец, разведенный муж их дочери.

Дедушка Гастон Александрович скончался в ноябре 1919 года, а бабушка Александра Петровна пережила его лишь на две недели. Их положили в одну могилу на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, приколотив к деревянному кресту – как практиковалось в те дни – медную дощечку с входной двери их квартиры. Теперь их могилы не существует.

Но я забежала вперед на целых пятьдесят лет!

Поселившись после свадьбы в Париже, супруги Эшен, о печальной кончине которых я только что говорила, пережили в его стенах осаду 1871 года, но гроза пронеслась быстро, и Париж зажил своей обычной жизнью. В 1872 году у Александры Петровны было уже две дочери – беленькая Линочка и темноволосая Сашенька. Линочка была полным кудрявым ребенком, но ее полураскрытый рот не свидетельствовал об особой живости ума. Зато Сашенька была необыкновенно сообразительна, забавна, жизнерадостна и умела добиваться того, чего хотела.

Девочки воспитывались в православной вере, и, чтобы их первым языком был русский, в Париж выписали русскую няню Елену Семеновну, которая за много лет выучила лишь одну французскую фразу «мусью савую» («Monsieur, asseyez-vous», «Присаживайтесь, месье»). В аллеях Булонского леса в то время часто можно было встретить даму с двумя девочками, которые громко практиковались в произношении каких-то невероятных для французского уха слов, вроде «мы-

ло», «рыба», «лыко». Дети всё норовили сказать «мило», «риба», «лико», чем приводили свою мать в негодование.

По воскресеньям вся семья собиралась у бабушки Эшен в Пасси, где для девочек всегда отложено много лакомств. Сашенька, любившая сладости, быстро съедала свою порцию и затевала игру в ворону и лисицу. Сама она всегда изображала «противную, хитрую лису», а Линочка, стоя на стуле, должна была ронять куски шоколада или бисквитов, которые мгновенно, по роли, подхватывались ее сестрой.

Летом семья уезжала на морские купанья в Бретань. Океан с его приливами и отливами имел для детей большую притягательную силу. Все было весело – и купанье из холщовых фургонов-раздевалок, которые выкатывались далеко в море, и ловля креветок, и постройка крепостей из песка. Поэтому, когда Линочку и Сашеньку вместо Бретани однажды повезли набираться русского духа в Аладино, им это не очень понравилось. Прелести Калужской губернии им были еще непонятны (Линочка до конца осталась к ним равнодушной!). Они не могли оценить возвышенной беседы Анны Афanasьевны и душевной чистоты тетушки Додо, и, пока их мать упивалась радостью пребывания на родине и ела подаваемое в Аладине кушанье «соломату», девочки брезгливо морщили носы и уверяли, что в Аладине можно без опасения есть только яйца вкрутую, картофель в мундирах и апельсины, то есть то, что чистится за столом.

Годы шли, и девочкам настало время учиться. Их опре-

делили в класс к парижской учительнице, которая взялась готовить их по всем предметам. Однажды их мать пожелала присутствовать на уроке истории и услышала: «Милые дети! Россия до Петра Великого была только скопищем диких орд». Уроки были прекращены, и домашним преподавателем к девочкам был приглашен живший тогда в эмиграции Лев Иванович Тихомиров. Ли-ночка, хотя и не отличалась блестящими способностями, училась добросовестно, усадить же за книгу Сашеньку, при всей ее природной сообразительности, было делом нелегким. Ей казалось, что в Париже, да и вообще на свете, есть много вещей, гораздо более интересных, чем учебники. С музыкой дело шло гораздо успешнее, и игра Сашеньке доставляла большое удовольствие.

Девочек воспитывали строго и с приложением той не совсем удачной французской системы, которая путем бесконечных разговоров о «долге» (*le devoir*) низводила это понятие до повседневных мелочей и вместо внедрения моральной ответственности достигала обратного: дети пропускали эти внушения мимо ушей, и понятие «долга» совершенно дискредитировалось.

Педагогические методы бабушки Александры Петровны применялись также и двадцать лет спустя к моему поколению и, иногда, в силу изменившихся условий жизни, вызывали среди нас протесты, но там, в Париже, все обходилось очень мирно. В семье царило трогательное единение. По ве-

черам у круглого стола, под лампой с приятным абажуром, дедушка читал вслух произведения французской литературы (с выпуском фривольных мест, конечно!), и у моей матери сохранилась об этих вечерах память как о символе семейного счастья.

Как я уже говорила, главную роль в семье играла Александра Петровна, но и она, несмотря на ярко выраженную самобытность, живя в Париже, подверглась постепенному влиянию французской среды, которую никак нельзя упрекнуть в недооценке материальной стороны жизни. (Недаром говорят, что француженка отдаст родине сына, но призадумается, прежде чем отдать сто франков.) За долгие годы, проведенные во Франции, Александра Петровна стала расчетливой и предусмотрительной хозяйкой. Ведение дома у нее было поставлено с точностью часового механизма. Полушутя бабушка говорила, что есть одно место, где она дает простор своей широкой русской натуре, – это ее зеркальный шкаф, где якобы царит беспорядок. Но этот шкаф был всегда заперт, царящего там беспорядка мы не видели, а потому в него не верили.

Материальной стороне жизни дедушки и бабушки Эшен был нанесен тяжелый удар в конце 70-х годов, когда произошел крах Лионского банка и значительно пострадали эшенские капиталы. Дедушке пришлось поступить на службу в правление нескольких акционерных обществ, и в семье на долгие годы утвердились разговоры о «священном долге

экономии». Разговоры эти велись не столь из практической необходимости, сколь «из принципа», и детьми воспринимались как неизбежный ритуал, не портящий, в конце концов, настроения.

Другая сторона воспитания бабушки Александры Петровны была более удачной: девочкам старались привить ту французскую любезность, которая заставляла их быть приветливыми со всеми без различия, уметь в равной степени поддерживать разговор с интересующим их человеком и с какой-нибудь старой глухой дамой, не выказывая при этом никаких признаков скуки.

Много лет спустя, в России, мне встречались люди, которые с недоверием относились к западноевропейской любезности моей матери. «Она слишком приветлива ко всем! Это не может быть искренним», – говорили эти люди, хотя никакой причины для неискренности усмотреть не могли. Такие суждения меня всегда очень удивляли, и я приходила к заключению, что люди охотно дискредитируют то, чем не обладают сами.

В 1888 году сбылась давнишняя мечта Александры Петровны. Дедушка Гастон Александрович получил место в правлении Макеевских металлургических заводов, финансируемых французским капиталом, и семья, до тех пор бывавшая в России лишь наездами, окончательно переехала в Петербург. На Николаевской улице была нанята большая квартира, с трудом вместившая широкие кровати с балда-

хинами, наполеоновские шкафы красного дерева с бронзой, мозаичные столики, золоченые кресла, короче, всю ту тяжелую, декоративную мебель, которая десятилетиями стояла в доме в Пасси и теперь была с трудом сдвинута с места и перевезена с берегов Сены на берега Невы.

Переезд в Россию особенно радовал бабушку Александру Петровну потому, что ее отец, Петр Афанасьевич, которого она очень любила, после двухгодичного плавания в Средиземном море на этот раз уже в качестве командующего эскадрой, с половины 80-х годов обосновался в Петербурге. Рассказы об адмирале Чебышёве, некоторых его странностях, его простоте и отваге ходили в то время из уст в уста. Так, однажды он, в своей адмиральской форме, зимой бросился в Неву спасать утопающего и благополучно вытащил его из-под льда. Подбежавшие полицейские и сам пострадавший захотели узнать имя спасителя, но он, весь обледевший, вскочил в извозничьи сани и умчался, не сказав ни слова. Когда на следующий день генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу было сообщено о поступке «неизвестного адмирала», тот воскликнул: «Ну кто же это мог быть, как не мой чудак Чебышёв!» Прадед был вызван к великому князю и должен был во всем сознаться.

Как некогда в Сан-Франциско, так и во всех портах, где бы ни стояли корабли под его командой, прадед Петр Афанасьевич оставлял по себе добрую память. Когда русская эскадра покидала Неаполь, местные жители поднесли ему неболь-

шой круглый столик, в доске которого были инкрустированы все корабли, на которых он плавал, числом, кажется, в одиннадцать.

Среди вещей, привезенных прадедом из Италии, была нитка розовато-красных кораллов. Я получила ее в возрасте одиннадцати лет, и эта вещь буквально «красной нитью» проходит через всю мою жизнь. Она украшала мое белое кисейное платье на московских танцклассах, а через много лет служила четками в наиболее трагические моменты моей жизни.

С половины 80-х годов Петр Афанасьевич, не будучи уже связан с морем, при всяком удобном случае устремлялся в Аладино, где жила его незамужняя сестра Анна Афанасьевна, и проводил там большую часть года, занимаясь разведением яблоневого сада. В Аладине же наступила в 1891 году его скоропостижная кончина от апоплексического удара.

Сыновей у Петра Афанасьевича не было, но морские традиции воспринял его внук Андрей Петрович Штер, сын его дочери Валентины Петровны, который плавал и сражался в 1904 году на знаменитом крейсере «Новик».

Но возвращаюсь к концу 80-х годов. Не прошло и двух лет со времени их переезда в Петербург, как Линочка и Сашенька Эшен были обе помолвлены. Двадцатого октября 1891 года в церкви Пажеского корпуса на Садовой одновременно венчались две пары: Валентина Гастонова – с сотни-

ком лейб-гвардии Казачьего полка Николаем Николаевичем Курнаковым, а Александра Гастонова (моя мать) – с моим отцом, Александром Александровичем Сиверсом, который незадолго до того стал бывать в доме на правах родственника (бабушка Александры Петровны по матери была урожденная Сиверс).

Отец женился в возрасте двадцати пяти лет. В 1888 году он окончил Петербургский университет и служил в Главном управлении Уделов. Он был очень красив собой (кроме его тещи Александры Петровны, это находили все. Она говорила, что «у Саши слишком грустные глаза») и очень серьезен (это признавала даже теща). К сожалению, это последнее качество было неравномерно распределено между моими родителями: отец обладал им в слишком большой мере, а мама – в то время – в недостаточной. Впоследствии это сказалось и привело к разрыву, но в 1891 году брак заключался по самой искренней привязанности с обеих сторон.

Муж Валентины Гастоновны, Курнаков, ничем не выделялся ни с внешней, ни с внутренней стороны. Это был окончивший Пажеский корпус молодой казачий офицер из известной, как говорили, на Дону фамилии. Тетя Лина выходила замуж без особой любви, а больше «за компанию» с сестрой. Молодой человек, который ей нравился (Виктор Дандре, впоследствии муж и импресарио знаменитой балерины Анны Павловой) в то время был бедным студентом и в женихи не годился, да и жениться, кажется, не собирався. Еще

раньше, во Франции, лейтенант зуавов Дюфан де Шуазине был отвергнут бабушкой, не желавшей иметь зятем француза. Перспектива жить дома без сестры Линочке не улыбалась, и она предпочла выйти замуж.

Несмотря на предпочтение, отдаваемое старшей дочери, Александра Петровна, обладавшая неисчерпаемым чувством юмора, любила над ней посмеяться, подчеркивая ее склонность поддаваться временным влияниям. Если Линочка вдруг начинала принимать неестественно-важные позы, это, по словам ее матери, значило, что она начиталась Вальтера Скотта и воображала себя леди Равеной. Выйдя замуж за Курнакова, Линочка сразу стала лихой казачкой, говорила «у нас на Дону» и с видом знатока судила о джигитовке. Это длилось недолго, но было в достаточной мере смешно.

Через год у Курнаковых родился сын Сергей. Бабушка и дедушка Эшен, под предлогом того, что квартира в лейб-казачьих казармах неудобна для ребенка, взяли внука к себе, сначала на время, а потом он остался у них навсегда и стал предметом самого тщательного «лабораторного» воспитания. Строго оберегаемый от всякого постороннего влияния, к двенадцати годам Сережа приобрел тон вундеркинда. К шестнадцатилетию вундеркинд превратился в веселого, остроумного, даже несколько разбитного малого, которого бабушка Александра Петровна с притворным ужасом называла «*garçon de cabaret*» («парень из кабака»). Сережу учили многому: живописи, музыке, иностранным языкам, верхо-

вой езде. Ждали, что он будет великим математиком, знаменитым строителем, художником, композитором. Но наступила война 1914 года, а за нею революция. Для Дикой дивизии¹ пригодились умение ездить верхом, а для последующей деятельности журналиста пошло на пользу владение пятью языками, хлесткое перо и способность к рифмованию, в котором мы с ним соревновались с детских лет. (Я упомянула о двоюродном брате, так как он будет появляться на страницах моих воспоминаний.)

В начале 90-х годов один за другим умерли Петр Афанасьевич и Анна Афанасьевна Чебышёвы. К бабушке Александре Петровне перешло Аладино и земля при соседней деревне Нетесово, всего 250 десятин. Денежные обязательства, лежавшие на этом небольшом владении, немедленно погасили, и через два-три года Аладино нельзя было узнать. Из запущенной усадьбы оно превратилось в благоустроенную дачу, куда вся семья съезжалась на лето в течение двадцати пяти лет.

Пока не была построена Московско-Киево-Воронежская железная дорога, сообщение с Аладином было довольно сложным. До Калуги доезжали поездом, потом 75 верст на перекладных по тракту Андреевское – Перемышль – Козельск. В Козельске обычно ждали свои лошади.

¹ «Дикая дивизия» – кавалерийская дивизия, состоявшая из добровольцев-мусульман, уроженцев Северного Кавказа и Закавказья. Многие русские дворяне служили в дивизии офицерами. – *Здесь и далее примечания редактора, если не указано иного.*

В раннем детстве я два раза совершила такое путешествие с матерью, братом Шуриком, который был на полтора года младше меня, и няней Настасьей. Хотя я была еще очень мала, но отчетливо запомнила некоторые картины того периода моей жизни. Обстоятельства сложились так, что позднее мне целых семь лет не пришлось быть в Аладине. После развода родителей оно стало для меня запретной и потому особенно интересной зоной, и я всеми силами старалась извлечь из своего сознания отрывки воспоминаний. Я закрывала глаза, и мне представлялся балкон с белыми колоннами, липовая аллея среди яблоневого сада и в конце аллеи смешная будка для караульщика. Будка эта стояла на подпорках, как свайная постройка, и в нее вела боковая лесенка. Вспоминался гремучий ключ в парке. На берегу росли незабудки, и девочка в красном сарафане мастерила для меня кузовок из бересты. Эти отрывочные образы так прочно врезались в мою память, что когда я одиннадцатилетней девочкой снова приехала в Аладино, многое мне показалось знакомым. Я узнала и балкон, и будку на сваях, и гремучий ключ.

Но прежде чем перейти к описанию моего вторичного появления в Аладине осенью 1903 года, следует установить, что я представляла собою в возрасте одиннадцати лет. Для этого необходимо вернуться к событиям раннего детства и рассказать о семье моего отца.

Род Сиверсов, из которого происхожу я, принадлежит к лифляндскому матрикулированному дворянству и, по суще-

ству, был военным. Прапрадед Иван Христианович Сиверс, приходившийся двоюродным братом екатерининскому наместнику в Твери и Новгороде и послу в Польше Якову Ефимовичу Сиверсу, воспитывался во 2-м кадетском корпусе, откуда был выпущен в Гатчинскую артиллерию цесаревича Павла Петровича и, после воцарения последнего, переведен в лейб-гвардии артиллерийский батальон. С этой поры наша семья тесно связана с гвардейской артиллерией.

В 1799 году Иван Христианович, находясь в Швейцарии в армии [Александра Михайловича] Римского-Корсакова, участвовал в сражении с французами близ Шафгаузена, а в Отечественную войну командовал артиллерией Запасной армии Тормасова. На склоне лет, в чине генерал-лейтенанта, он стал начальником Южного округа Артиллерии в Ахтиаре (так в то время назывался Севастополь) и умер в Севастополе в начале 30-х годов. Женат он был на Марии Марковне Сиверс и имел двух сыновей и трех дочерей. Из последних одна была замужем за флота генерал-лейтенантом Григорием Афанасьевичем Польским (оттуда родство с Чебышёвыми).

Старший сын, Александр Иванович, мой прадед, воспитывался в Пажеском корпусе, причем имя его, как окончившего первым, занесли на мраморную доску. В 1817 году он был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду, а затем, командуя батареей 2-й артиллерийской бригады, за «отличную храбрость», выказанную им в

траншеях при осаде турецкой крепости Варна в 1828 году, получил орден Святого Георгия 4-й степени.

После войны Александр Иванович некоторое время состоял при Николаевской военной академии, а затем, в возрасте тридцати трех лет, был произведен в генерал-майоры и, пользуясь репутацией неподкупно честного человека, назначен начальником Тульских оружейных заводов, где не все было благополучно. Были обнаружены хищения, и молодой генерал с энергией принялся за «выявление зла». Он, видимо, принадлежал к тому сорту людей, по поводу которых либерально настроенный публицист воскликнул: «Хвала стране, где честность дает тебе известность!», а потом, увидев, что сказал неловко, поправился: «Позор стране, где честность дает тебе известность». Для Александра Ивановича Сиверса его честность и порожденная ею известность оказались губительны. Он умер загадочной смертью в начале 40-х годов, как предполагали по некоторым данным, был отравлен.

Его вдова, Елизавета Карловна (урожденная Ольдерогге), оставшись с четырьмя детьми без всяких средств и с небольшой пенсией, являлась примером доблести и добродетели. Дав прекрасное воспитание детям, она умерла в 1899 году в возрасте восьмидесяти девяти лет, окруженная заботой сыновей, находившихся уже в немолодых годах и генеральских чинах.

Из трех сыновей ее двое – Михаил и Николай – были, как

и их отец, артиллеристами. Средний же, Александр Александрович, мой дед, не мог поступить в военную службу из-за повреждения ноги. В младенческом возрасте он неудачно выпал из колясочки, всю жизнь страдал хромотой и носил тяжелый протез.

Вспоминая дедушку, я удивляюсь тому, что это несчастье не наложило на него никакого отпечатка мрачности: это был удивительно милый, приветливый человек, любящий жизнь во всех ее проявлениях. Главным пристрастием его были лошади: на конюшне всегда стояло несколько хороших лошадей, а кабинет заполняли конские скульптуры и картины Сверчкова. Кроме лошадей, дедушка любил растения, птиц и рыб. Где бы он ни жил – в Нижнем, в Киеве или в Москве, – его квартира напоминала зимний сад, причем он сам ухаживал за своими цветами и пальмами. Между кадками с тропическими растениями стояли аквариумы с золотыми и серебряными рыбками, а в столовой заливались десятки канареек и других экзотических птичек. Душою всего этого животного и растительного мира был сам дедушка, который, несмотря на все свои многочисленные служебные дела, находил время, чтобы полить цветы и накормить птиц и рыб.

Более тридцати лет Александр Александрович прослужил в Удельном ведомстве, причем в последние годы был начальником Удельного округа в Нижнем, а затем в Киеве. В конце 90-х годов дедушка и бабушка Сиверс поселились в Москве. Дедушка вышел на пенсию, но, не вынося бездей-

ствия, вел дела своего друга, Владимира Федоровича Лугина, по управлению его большими лесными именьями в Костромской губернии.

Умер Александр Александрович от приступа грудной жабы 21 апреля 1902 года, скоропостижно, на даче под Москвой, окруженный любовью и уважением всех его знавших.

В родословную моего отца по материнской линии вкрадывается некоторая таинственность. Несомненно, что его прабабушка Елизавета Григорьевна Калагеорги, в девичестве Темлицына, была дочерью светлейшего Потёмкина. Кто была ее мать, в точности неизвестно. Апокрифические версии называют императрицу Екатерину II, причем сторонники этой версии указывают на очень большое сходство с императрицей двоюродной тетки моего отца Елизаветы Александровны Стремоуховой, урожденной Калагеорги, внучки таинственной Елизаветы Григорьевны. Во всяком случае, документально известно, что в семье лейб-медика великокняжеских детей Бека воспитывалась дочь светлейшего князя, в судьбе которой императрица принимала большое участие. Известен портрет кисти Боровиковского, изображающий эту особу в восточном тюрбане, облокотившейся на бархатную рампу театральной ложи. (Находится в Третьяковской галерее, причем ошибочно помечен «Е.Г.Тёмкина», тогда как она была Темлицына – смешение фамилий Потемкина и ее крестной матери княгини Голицыной.)

На судьбу Елизаветы Григорьевны косвенным образом

повлияли устремления русской политики конца XVIII века. В окружение великого князя Константина Павловича, намечавшегося, как известно, в византийские императоры, по мысли его бабушки, были вызваны из Греции несколько юношей, которым следовало оказывать на него «эллинское влияние». Среди этих молодых греков находился и Иван Христофорович Калагеорги. Византийскому проекту не суждено было осуществиться, но греческие юноши на родину не вернулись и остались в России. Иван Калагеорги, поступивший на военную службу и женившийся на Елизавете Георгиевне, впоследствии долгие годы пребывал на посту херсонского губернатора.

Младшая дочь четы Калагеорги, Вера Ивановна, вышла замуж за помещика Лохвицкого уезда Полтавской губернии, друга Гоголя, сына известного скульптора Петра Ивановича Мартоса. Умерла она сравнительно молодой. Дочь Веры Ивановны, Надежда Петровна Сиверс, моя бабушка, вспоминая свое детство в обстановке украинской деревни, рассказывала, что крестьяне, когда она с родителями проезжала в экипаже, говорили: «Це Мартос, Мартосиха и Мартосивна».

Теперь, когда я в кратких словах рассказала об истоках семьи и перечислила моих ближайших предков с четырех сторон, я могу приступить к изложению собственных воспоминаний.

Ничуть не страдая сомнением, я все же признаю, что

моя жизнь представляет некоторый интерес, поскольку она сплетена с внешними событиями большой важности, участницей и жертвой которых мне пришлось быть.

Потому во мне так сильна обида за утрату того единственного (материального), что остается у человека от его прошлого – писем, дневников и фотографий. Всего этого я была лишена грубо и, главное, бессмысленно.

Часть первая

Детство

Родилась я 12/24 октября 1892 года в Петербурге, на Николаевской улице. Немногим более чем через полтора года родился на Крестовском острове мой единственный брат Александр, «Шурик» нашего детства, «Сашка» его лицейских лет и, наконец, з/к Сиверс А.А. 10-й роты С.Л.О.Н.'а.

Наше детство, вплоть до катастрофы 1898 года, когда уехала наша мать, ничем не отличалось от обычного детства здоровых счастливых детей. То, что я в возрасте четырех лет болела тифом, а потом менингитом и осталась жива, не опровергает, а как раз подтверждает выносливость моего организма.

Первая петербургская квартира, которую я помню, была в Эртелевом переулке. Мы занимали нижний этаж небольшого дома, как раз напротив типографии суворинского «Нового времени». В комнатах было уютно и красиво благодаря парижским вещам моей матери – крупным и мелким. Гостиную карельской березы родители тщательно подобрали у старьевщиков Александровского рынка, положив этим начало увлечению старинными вещами в нашей семье.

Все утверждали, что моя мать очень похорошела после за-

мужества. Что делало ее внешность особенно привлекательной – так это седая прядь на фоне темных выющихся волос, которая появилась в возрасте 18-19 лет и составляла интересный контраст с ее молодым, подвижным лицом.

Если в школьные годы Сашенька считала, что «Париж имеет много вещей более интересных, чем учебники», то теперь, в Петербурге, для нее оказалось много вещей более интересных, чем сидение в детской. Зато когда она там появлялась, она была так мила и ласкова, что мы приходили в полный восторг. Представляю себе ранние петербургские сумерки и маму в синем бархатном платье, стоящую перед нами на коленях и прижимающую к груди наши головы, чтобы мы могли послушать, как бьется ее сердце. (Она в это время болела острым воспалением сердечной оболочки.) Иногда мы допускались к рассмотрению ящиков ее зеркального шкафа. Глаза разбегались при виде множества интересных вещей: котильонных украшений, разноцветных лент, искусственных цветов, страусовых перьев. По вечерам мама часто играла на рояле; днем, когда бывала дома, рисовала цветы или прелестные картинки в стиле английской иллюстраторши Kate Greenway. Если все эти занятия и не были особенно значительны по своему содержанию (отец всегда подсмеивался над маминым пренебрежением к печатному слову), то они во всяком случае не оставляли места скуке (мама всегда говорила, что это понятие ей незнакомо).

В первой главе я упоминала, что отец служил в Главном

управлении Уделов. Теперь к этому общему указанию могу добавить, что он заведовал Седьмым делопроизводством, то есть отделом, создавшим русское виноделие, русское хлопководство и чайные плантации в Чакви. Слова «Массандра» и «Абрау-Дюрсо» мне были знакомы с детства, а когда после постройки мощных оросительных сооружений Мургабское Государево имение в Закаспийской области перешло на хлопководство и в Байрам-Али был построен хлопкоочистительный завод, отца стали в шутку называть «отцом русского хлопка». Во главе Удельного ведомства в 90-х годах стоял князь Леонид Дмитриевич Вяземский, человек благородной души, но крутого и раздражительного нрава. В 1901 году он находился на площади Казанского собора, когда там проходила студенческая демонстрация. Увидев, как полицейские разгоняют толпу нагайками, он вскипел негодованием, вмешался в действия полиции и приказал городовым немедленно убрать нагайки. Выступление у Казанского собора навлекло на Вяземского опалу.

Главное управление Уделов помещалось на Литейном проспекте, близ Бассейной улицы, в большом доме с фронтонном, поддерживаемом четырьмя кариатидами. Рядом с этим зданием был сад, куда мы ходили гулять со старушкой няней Настасьей и где встречали детей Вяземских, бывших значительно старше нас. Дети эти назывались «Димка, Лилька и Алешка».

Долгие прогулки по городу, совершаемые «для здоровья»

сначала с няней, а потом с воспитательницей Юлией Михайловной, навсегда сроднили нас с Петербургом, заставили ощутить его особенности и красоту как нечто неотделимое от нас самих. Бронзовые кони Аничкова моста, чугунные ограды парков и набережных, завитки которых мы должны были обязательно потрогать пальцем, проходя мимо, мраморные фигуры и вазы Летнего сада, вокруг которых мы играли, и даже петербургские туманы, подчас розоватые от пробивавшегося сквозь них солнца, – все это было неразрывно связано с нашей жизнью. Помню, как мы однажды стояли на Знаменской площади. Лиговская улица терялась перед нами в молочном тумане, среди которого, вследствие непонятной игры солнечных лучей, сверкал золотой купол далекой церкви. Я спросила у няни: «Где кончается Лиговка?» Няня ответила: «Ах – она без конца!» С тех пор представление о бесконечности у меня было связано с видом улицы, уходящей в туман, и золотого сияния где-то наверху.

Были и другие, менее символические впечатления от петербургской уличной жизни того времени. Иллюминация города в царские дни производилась весьма примитивным образом; от фонаря к фонарю протягивалась проволочка, на которой развешивались восьмигранные фонарики из разноцветного стекла со свечою внутри. Это было наивно и мило. Вензеля, короны и надписи из электрических лампочек появились впервые во время пребывания в Петербурге в 1900 году французской эскадры и президента Фальера. В честь

этого события на Михайловской улице, против Думы, была поставлена алебастровая группа, изображавшая двух женщин: одну – в кокошнике, а другую – во фригийском колпаке, дружески пожимающих друг другу руки; это была эмблема франко-русского союза.

Как приезжал несколько ранее президент Феликс Фор, я не помню. Знаю только, что петербургское общество долго изощрялось в острогах по поводу дружественного приема, оказанного царской семьей «торговцу кожами»². Лейб-гусар Мятлев, только что начавший писать свои сверкающие остроумием эпиграммы, ставшие впоследствии энциклопедией русской придворной и общественной жизни целого периода, так изображал разговор государя с маленькими дочерьми:

*Оля, шаркни ножкой,
Таня, сделай книксен:
В гости к нам приехал
Дядюшка Феликс!*

В городе насмешливо предполагали, что будущего наследника назовут Ники-Фор в честь царя и его друга президента.

Если детское представление о бесконечности у меня было связано с петербургскими туманами, то представления о торжественности и красоте возникли в связи с воскресны-

² В юности Феликс Фор, сын мебельщика, служил помощником у торговца кожами.

ми посещениями удельной домово́й церкви. Всё, начиная со швейцара в красной придворной ливрее с медной булавой в руках, открывавшего дверь, казалось мне необычным. После того как внизу были оставлены наши шубки, на моей голове поправили бант, а брату одернули его матроску, по красным пушистым коврам мы проходили к лестнице, ведущей во второй этаж. В вестибюле стояли два громадных бронзовых зубра, на которых мы поглядывали с интересом и некоторым страхом.

Уже на лестнице были слышны мощные и нежные звуки хора Архангельского. Мы подымались по ступеням, охваченные настроением торжественности, и, пройдя по галерее, украшенной помпейскими фресками и хрустальными люстрами, вступали на мозаичный паркет большой светлой залы, превращенной в церковь в честь святого Спиридония. Там мы чинно отстаивали обедню и бывали очень рады, если нам удавалось увидеть дядю Коку Муханова (ближайшего друга нашего отца) или толстого маленького заведующего удельной виноторговлей Александра Никандровича Андреева, который любил нас и иногда водил осматривать подвалы с громадными сто-ведерными бочками.

Священник Удельной церкви отец Ветвеницкий обладал аскетической внешностью и неприятным гнусавым голосом. До него был отец Кандидий, который настолько применился к своей великосветской пастве, что назывался «le pere Candide» и был объектом ряда анекдотов. Про него, напри-

мер, рассказывали, несомненно для красного словца, что, проходя мимо знакомых дам с кадилом, он тихо говорил: «Простите, сударыня, что плохо пахнет, но таков обычай».

Отстояв обедню, выпив «теплоты»³ из плоской серебряной чарочки и получив по кусочку просфоры, мы уже менее чинно спускались по лестнице, не забывая заглянуть через окно в маленький внутренний дворик, где рос единственный в Петербурге каштан. Для поддержки это старое дерево было во многих местах охвачено железными обручами; оно казалось нам особенно ценным и напоминало Железного Генриха из сказок братьев Гримм.

Самое лучшее в Петербурге время – апрель – обычно совпадало с Вербной и Пасхальной неделями. Залитые солнцем улицы бывали полны народа. На углах продавались бумажные розаны для куличей, пучки вербы с краснощекими херувимами и специально весенние игрушки: круглые клеточки с конусообразной картонной крышей и сидящей в них восковой птичкой, а также красноклювые стеариновые лебеди, пустые внутри, которые прекрасно плавали в тазу с водой. Витрины магазинов ломились от всевозможных пасхальных эмблем: куличей, баб, барашков с золочеными рогами, а главное – яиц шоколадных, сахарных, стеклянных, атласных, раскрывающихся и нераскрывающихся, с сюрпризами и без сюрпризов. Нас приходилось иногда насильно оттащить от подобных витрин, перед которыми мы останав-

³ «Теплота» (*церковн.*) – теплая вода с вином, подаваемая после причащения.

ливались в экстазе, не желая идти дальше.

Некоторый интерес в это время представлял для нас также угол Нащекинской и Спасской улиц, откуда была видна каланча Литейной части. По белому флажку на этой каланче мы судили о ходе льда на Неве. Когда флажок исчезал, это значило, что ледоход кончился и мы имели право снять теплые пальто и галоши. Правда, две недели спустя, в мае, наступало похолодание, так как проходил ладожский лед, но этот «чужой» лед в расчет не принимался, и теплые вещи уже лежали в сундуке, пересыпанные нафталином.

Говоря о наших встречах в удельной церкви, я упомянула имя дяди Коки Муханова. Это имя вызывает у меня целый поток нежных чувств, среди которых доминирует благодарность за все хорошее, что он внес в жизнь «двух детей, брошенных матерью» – как мы стали называться с 1898 года. Николай Николаевич Муханов не был нашим родственником и назывался дядей Кокой по дружбе, которая связывала его с детских лет с нашим отцом. Происходил он из старинной дворянской семьи (именье Мухановка находилось в Бугурусланском уезде Самарской губернии, рядом с помещьем славянофилов Аксаковых). Окончив Московский университет, он поступил на службу в Главное управление Уделов, встретился в Петербурге с нашим отцом, тогда еще холостым, и поселился с ним на Шпалерной улице. Третьим их сожителем был, как его тогда называли, «Ванечка» Шипов, который служил в министерстве финансов. Его очень ценил

министр Витте, и впоследствии он сделал блестящую карьеру вплоть до директора Государственного банка.

В содружество на Шпалерной улице входил еще Яков Исаевич Элиасберг, служивший, как и Иван Павлович Шипов, в министерстве финансов. Это был человек очень тонкой душевной культуры, настолько милый, что дядя Кока Муханов, стоявший на базе «самодержавие, православие и народность», прощал ему его еврейское происхождение. (Яков Исаевич умер в возрасте сорока лет от приступа аппендицита.)

Когда мой отец женился, его место в товарищеской квартире занял приехавший из Москвы дальний родственник Шипова Николай Борисович Шереметев. О семье Шереметевых, сыгравшей столь важную роль в моей жизни, я буду говорить в следующей главе.

Товарищи и сослуживцы отца постоянно бывали у нас в доме. Мама, веселая и общительная, была склонна к светским развлечениям; в отце же его страсть к книгам и всяким серьезным занятиям росла не по дням, а по часам. Не желая покидать кабинета, он часто просил кого-нибудь из своих друзей сопровождать маму туда, куда ей хотелось, а ему не хотелось ехать. Это дело кончилось бедой: наступил день, когда его помощник по должности Николай Борисович Шереметев заявил, что любит его жену и просит дать ей развод. Об этом объяснении я знаю только из последующих разговоров, но думаю, что оно было тяжелым для всех его участников.

В результате мои родители сделали попытку сближения и уехали на несколько месяцев за границу, а Николай Борисович перевелся служить в Беловежскую Пущу и уехал из Петербурга.

Мы, то есть брат Шурик и я, были отправлены на лето к бабушке и дедушке Сиверс, которые, живя в Москве зимой, на лето снимали какую-нибудь подмосковную усадьбу. На этот раз они поехали в имение Ново-Теряево Рузского уезда, принадлежавшее обедневшей семье князей Кудашевых.

Теперь, мне кажется, нужно сказать несколько слов о нашем внешнем облике, в значительной мере обусловившем отношение к нам со стороны родных отца. Я была круглолицей, румяной девочкой, с веселыми светлыми глазами, похожей на мать. На голубой радужке моего левого глаза имелось коричневое пятнышко, из-за чего этот глаз назывался «пестрым», но кроме этой метки я в детстве ничем особенным не отличалась. Брат, похожий на отца, был красивее меня, особенно поражали его серые, грустные глаза с пристальным и вместе с тем мягким взглядом и очень красиво очерченный рот. Двадцать лет спустя, когда мои щеки перестали быть круглыми, а глаза – веселыми, сходство между нами увеличилось. Бывали случаи, когда незнакомые люди обращались ко мне со словами: «Вы, несомненно, сестра Александра Александровича!» В детстве это сходство было ме-

нее выражено. Любимцем бабушки Сиверс естественно оказался Шурик. Я же, напоминая ей «женщину, составившую несчастье ее сына», вызывала в ней неприязненное чувство. Сколько раз я слышала, как она презрительно говорила: «Вылитая мамаша!»

Впоследствии это породило ряд несправедливостей в отношении меня, но, пока был жив дедушка, а мы были малы, я всегда охотно ехала в Москву и на дачу. О лете в Ново-Теряеве у меня не сохранилось особенно ярких воспоминаний – помню, что место было сырое и я рассказывала брату и няне, что с соседнего болота поднимается «царь-туман» с белой бородой и в белой мантии.

Осенью за нами приехали вернувшиеся из путешествия родители. На маме была маленькая шляпа, вуалетка с мушками, и лицо у нее было грустное. Мы возвратились в Петербург, и началась мучительная зима. Все благие начинания – и поездка родителей за границу, и добровольная ссылка Шереметева в Беловеж не могли остановить хода событий. Начался развод, и в апреле 1898 года мама окончательно уехала из дому.

Отец принял вину на себя, но детей не отдал, и наступил период в пять с половиной лет, когда я ни разу не видела матери.

В семье Эшен известие о разводе было встречено весьма неодобрительно. Бабушка и дедушка сказали, что в Аладине «разводкам не место!». (Мой отец, несмотря на то, что

был «пострадавшей стороной», никогда не мог простить этого своей теще, которую, как и полагается зятю, недолюбливал.) Маме пришлось принять приглашение одной старинной знакомой семьи (Александры Францевны Флиге) и поехать на все лето к ней в Подольскую губернию.

К нам в качестве воспитательницы была приглашена Юлия Михайловна Гедда, немолодая девица с высшим педагогическим образованием. У первоприсутствующего сенатора Гедда было девять человек детей и никаких средств. В силу этого те из его дочерей, которые не вышли замуж и располагали лишь небольшой пенсией после смерти отца, должны были работать. Старшая и наиболее умная из них, Александра Михайловна, основала на общих с сестрами началах женскую гимназию; гимназия эта была серьезно поставлена, но вскоре оказалась принадлежащей лично Александре Михайловне. Разрыв с сестрой на этой почве заставил Юлию Михайловну стать городской учительницей. Она долгое время заведовала школой на Петербургской стороне и с гордостью вспоминала потом, как городской голова Ратьков-Рожнов отмечал ее полезную деятельность.

Несмотря на некоторые стародавические причуды, Юлия Михайловна была глубоко порядочным человеком и добросовестно занималась нами пять лет. В деле нашего воспитания она применяла все методы, которым ее учили на Высших курсах. Нас приучали к ручному труду (я вышивала по канве, брат плел корзиночки и платочки из разноцветной

бумаги). Общеобразовательные предметы были поставлены серьезно: мы посещали музеи, Ботанический сад, знакомились с историческими достопримечательностями Петербурга. Благодаря заботам Юлии Михайловны в возрасте семи лет я уже видела и египетские мумии нижних зал Эрмитажа, и его Петровскую галерею, и витрины Кунсткамеры на Васильевском острове, и наиболее известные картины музея Александра III. Помню, как нас еще совсем маленькими Юлия Михайловна водила в какую-то школу, чтобы показать прибор с вращающимися вокруг свечи глобусами и дать нам наглядное пояснение о движении Земли вокруг Солнца. Нашего отца она обожала, называла его «мой очаровательный принципал» и по вечерам пыталась заводить с ним долгие разговоры на отвлеченные темы, от которых он вежливо уклонялся.

В зиму, предшествовавшую отъезду матери, я выучилась читать, и с этого времени новые понятия и образы мощным потоком хлынули в мое сознание. Книг в нашем распоряжении было очень много – и детские в красных, тисненых золотом переплетах, и более серьезные из отцовской библиотеки, которые нам выдавались под условием бережного с ними обращения. В числе последних была многотомная «Жизнь животных» Брема.

В ранние годы мы с Шуриком очень любили сказки братьев Гримм. Среди них была одна, имевшая в нашей жизни символическое значение. Это была короткая повесть о друж-

бе между собакой и воробьем, которые ели из одной кор-
мушки. Воробей часто сидел у своего друга на спине и назы-
вал его «песик-братик». Не приводя здесь рассказа о даль-
нейшей печальной судьбе этих двух существ (имевшей боль-
шую аналогию с нашей), скажу только, что в минуты неж-
ности я называла Шурика «песик-братик». Этим же словом
была подписана его последняя открытка ко мне от 24 октяб-
ря 1929 года.

На предыдущих страницах я говорила о благотворительной
роли, которую играл в нашей жизни дядя Кока Муханов. Бу-
дучи холостым и не имея своей семьи, он отдал нам много за-
боты, часами просиживая у наших кроватей, когда мы были
больны, и участвуя во всех наших печалях и радостях. Вы-
шло так, что после отъезда мамы дружественные силы в ли-
це дяди Коки и Якова Исаевича тотчас же сплотились вокруг
нас, чтобы смягчить горечь утраты. Оба приятеля неизменно
обедали у нас по воскресеньям, а вечером в детской устраи-
вался сеанс волшебного фонаря. На стену вешали простыню,
на белой поверхности которой последовательно проходили
образы Робинзона Крузо и Пятницы, Степки-Растрепки, де-
вочки, сгоревшей от неосторожного обращения со спичка-
ми, и мальчика, сошедшего в могилу потому, что он не хотел
есть суп.

Случались картины не назидательные, а просто декора-
тивные или смешные: например, слон в мундире и с порт-
фелем под мышкой. При виде его мы кричали: «Это папа

идет в департамент!», а потом, чтобы искупить такую непочтительность, со смехом бросались на шею к отцу, обычно принимавшему участие в наших вечерних развлечениях. И Шурик, и я готовы были за него идти в огонь и в воду и окружали его образ ореолом непогрешимости, доходя при этом до глупости. Так, однажды я услышала, как Юлия Михайловна, беседуя со своей знакомой и жалуясь на обремененность хозяйственными заботами, сказала: «Ведь вы знаете, Александр Александрович ни во что не входит. Живет как птица небесная!» В последних словах я усмотрела критику и как лев бросилась на защиту отца, плача и крича: «Не смейте говорить, что папа – птица небесная!»

Возвращаясь к хронологическому повествованию. Лето 1898 года мы – то есть папа, Юлия Михайловна, няня, Шурик и я – провели на даче в Петергофе. Петергофская удельная гранильная фабрика в то время выполняла большие заказы для строящейся на Екатерининском канале церкви Воскресения на крови, и, бывая на фабрике, мы видели прекрасные изделия из нефрита, ляпис-лазури и агата. В одно из таких посещений папа, Шурик и я были экспромтом сфотографированы помощником директора фабрики Владимиром Николаевичем Цветковым. Этот очень удачный и трогательный снимок всегда стоял на моем столе, и о пропаже его я сожалею особенно.

Гуляя в Нижнем и Английском парках, мы быстро осво-

ились с их достопримечательностями, и я чувствовала себя в Петергофе как дома. Когда, расположившись на мраморной скамейке Монплезира, я раскрывала книгу и начинала читать вслух, то иногда слышала от проходящих людей похвалы своему уму, и мне это очень нравилось. Книга, которую я в это время читала и даже знала наизусть, была довольно бездарна. Речь шла о кошках, которые устраивали бал и ожидали гостей. На картинках эти кошки были изображены в бальных платьях с веерами в лапах. Я читала с серьезным видом, и однажды, когда дело дошло до того, что появился гость, «кот subtilный и поджарый» — эти странные слова я выговаривала особенно четко, — моя аудитория, состоявшая из кронштадтских моряков, покатила со смеху и выразила желание меня качать. Только вмешательство няни Настасьи предотвратило столь опасную для ребенка операцию.

Царская семья в это лето жила в Петергофе, и мы часто встречали великих княжон, катающихся в ландо, или государя, проезжавшего верхом и с улыбкой отвечавшего на наш поклон. По аллеям парка ходил сиамский наследный принц Чекрабон, смуглый юноша, учившийся в Пажеском корпусе, а на лужайках Английского парка юнкера и кадеты старших классов производили топографические измерения. Это, по-видимому, были те «съемки примерные, съемки глазомерные», о которых пелось в юнкерских песнях со времен Лермонтова.

Осенью мы переехали на новую квартиру на угол Спас-

ской и Надеждинской улиц. Парижская мебель матери и ее рояль были отправлены в Москву, а отцовский кабинет стал обогащаться все новыми и новыми книжными шкафами. К этому времени относится начало увлечения отца археологией и нумизматикой. Позеленевшие медные монеты, красивые елизаветинские рубли и бронзовые медали грудами лежали на его письменном столе в ожидании определения и включения в коллекцию.

Недалеко от нас, на Надеждинской улице, жила добрейшая старая дама Екатерина Константиновна Рихтер, связанная с семьей Сиверсов долголетней дружбой. Ее покойный муж, статс-секретарь Петр Александрович Рихтер, был начальником Главного управления Уделов до князя Вяземского. Зная нашего отца с детства и любя его, она перенесла это отношение и на нас. Бывать у «бабушки Рихтер» бывало очень приятно: во-первых, нас там поили шоколадом с бисквитами, а во-вторых, там было множество интересных вещей.

Екатерина Константиновна часть года проводила в Италии, и в ее доме образы этой страны впервые овладели моим воображением. Рассматривая альбомы с видами итальянских городов, я узнала, что такое гондола, какую форму имеет ее гребень, по мозаичному пресс-папье с изображением Колизея получила первое представление о Риме, а по слезницам⁴ из помпейского стекла и паре кастаньет – о Неаполе.

⁴ Сосуд, в котором хранились слезы, пролитые при чьем-нибудь погребении

Кроме дяди Коки и Якова Исаевича, наших постоянных посетителей, часто к нам заходил Николай Николаевич Сиверс, двоюродный брат отца, артиллерист, окончивший Академию Генерального штаба (впоследствии начальник штаба генерала Куропаткина). Он был высок, широкоплеч и необычайно добр. Сразу при входе дяди Коли Сиверса в переднюю мы бросались к нему на шею, царапая щеки о его аксельбанты и рыжеватые усы, и вели прямо в детскую. Там он попал в руки Юлии Михайловны, которая пыталась его женить на своей кузине Ольге Лярской; из этого сватовства в конце концов ничего не вышло. Помню, что за обедом между отцом и дядей Колей велись разговоры о деле Дрейфуса и об англо-бурской войне, причем симпатии обоих были на стороне буров.

Интересной фигурой, известной всему Петербургу, был старший брат Юлии Михайловны – Михаил Михайлович Гедда, служивший в Сенате. Это был старый холостяк мрачного вида, затянутый в черный глухой сюртук, глупый и молчаливый. Он имел особую страсть к пожарам. При малейшей тревоге, еще до прибытия пожарных, на месте происшествия появлялся Михаил Михайлович и руководил тушением огня.

В наше пуританское окружение врывается иной мир, когда из Кронштадта приезжала двоюродная сестра отца Лидия Александровна Рубец. Тетя Лида была настоящей кра-

савицей и к тому же не холодной, а преисполненной женского обаяния. Весь Кронштадт, во главе с адмиралом Макаровым, был ею пленен. Высокая, статная, с тонкими чертами лица, прекрасными глазами и золотистыми волосами, она появлялась у нас, принося с собой запах духов и неизменное оживление. За обедом тетя Лида шутила с отцом, высмеивая его научные интересы и отшельнический образ жизни, рассказывала об очередной выходке адмиральши Капочки Макаровой, известной своей глупостью и заносчивостью, вечером рисовала нам картинки, наряжала моих кукол, а на следующее утро, нагруженная покупками, уезжала домой. Она была настолько мила, что бабушка Сиверс, очень строгая к людям, слыша о кронштадтских похождениях своей племянницы (Лида была дочерью ее сестры Веры Петровны), говорила: «Пора Лиде приехать, а то я что-то начинаю на нее сердиться!»

В декабре 1899 года брат заболел скарлатиной. Думая, что я еще не успела заразиться, отец быстро отвез меня в Москву, к своим родителям, которые жили на углу Сивцева Вражка и Старо-Конюшенного переулков в особняке с мезонином, принадлежавшем сестрам Зезивитовым. Одна из этих сестер была жалостлива к животным и собирала бездомных собак и кошек, для которых во дворе выстроили особое помещение.

В первой главе моих воспоминаний я говорила о милом характере моего деда, о его лошадях, птицах, рыбах и комнатных растениях. В своих личных потребностях дедушка

Александр Александрович был очень скромн, и в центре внимания всего дома находилась бабушка Надежда Петровна. В молодые годы врачи констатировали у нее туберкулез легких, и с тех пор вокруг ее здоровья был создан целый культ. Бабушка принадлежала к тому роду людей, которые, причислив себя раз навсегда к натурам избранным, умеют внушить эту идею окружающим. Единственно, кого бабушка любила больше самой себя, был ее сын Саша, мой отец, и эта привязанность оставалась очень сильной. Я еще нигде не упоминала, что у отца была сестра Елизавета Александровна, на пять лет моложе его. По окончании Нижегородского института тетя Лиля вышла замуж за папиного товарища по университету Николая Николаевича Чебышёва, имевшего лишь отдаленное отношение к аладинским Чебышёвым, и жила в городе Владимире, где ее муж был товарищем прокурора.

Когда в декабре 1899 года папа привез меня в Москву, тетя Лиля гостила у родителей. За столом я слышала ее рассказы о прелестях владимирской жизни, о том, что у них составилcя приятный круг знакомых, среди которых самые приятные Маклаковы (управляющий Казенной палатой и его жена), о том, что во Владимире часто устраиваются вечера, на которых Маклаков⁵ имеет большой успех, копируя всех присутствующих. О своей семейной жизни тетя Лиля умалчивала, так как, по-видимому, путь этой жизни не был «усыпан

⁵ Николай Алексеевич Маклаков, впоследствии министр внутренних дел.

розами»: ее муж (который будет дальше мною именоваться «дядя Никс»), человек блестящего ума и способностей, обладал тяжелым характером.

Первая неделя моего пребывания в Москве оказалась очень приятна: утром дедушка брал меня с собою, когда ехал в город по делам или бабушкиным поручениям. Прежде всего мы отправлялись в аптеку Феррейна на Никольской. Пока дедушка заказывал лекарства, я сидела в санях, беседовала с кучером Спиридоном и смотрела на шумную, суетливую московскую толпу. С Никольской, мимо бесчисленных церквей и часовен, мы обычно ехали в Столешников переулоч, в посудный магазин Бодри за какими-нибудь хозяйственными принадлежностями, оттуда в Охотный ряд за фруктами и возвращались домой, купив по дороге корму для рыб и птиц.

После завтрака я переходила от одного аквариума к другому, накачивая воздух резиновыми баллонами в зеленых шелковых сетках и наблюдая, как золотистые вуалехвосты и телескопы медленно движутся между водорослями, или лежала на большом ковре-медведе в бабушкиной гостиной, читая «Топтыгина» и «Мазая». В сумерки бабушка, которая никогда не выходила зимой на улицу, опасаясь простуды, начинала хождение по анфиладе комнат для моциона. Вечером в столовой на большом столе раскладывали пасьянсы, в чем я принимала живейшее участие. Бабушка вынимала красивые швейцарские карты, которые затем ложились рядами по законам ее любимых пасьянсов «Капризная дама» и «Мини-

стерские дела».

На десятый день столь приятный образ жизни был прерван. Перечитывая вечером в столовой книгу «Дети капитана Гранта», я почувствовала боль в горле. Ночью начался жар и бред: Жак Паганель, лорд Гленарван, новозеландские дикари на пирогах – все это смешалось в какой-то хаос, я кричала «Табу!», словом, заболела скарлатиной.

Болезнь моя протекала благополучно, без осложнений, но все же наделала много хлопот. Пришлось выделить для меня большую комнату в мезонине и пригласить сестру милосердия из общины «Утоли моя печали». В полной изоляции провела я ровно месяц. Моим главным развлечением было смотреть в окно, выходящее на Сивцев Вражек. В дни Рождества и Нового года этот тихий переулок заметно оживлялся. Бабушкина горничная Поля заранее поставила меня в известность, что по законам московского света на первый день праздника ездят с поздравительными визитами только мужчины, а на второй день начинают разъезжать дамы. Так оно и оказалось: 25 декабря и 1 января мимо моего окна мелькали военные шинели, бобровые воротники и даже цилиндры, а на следующий день появились кареты с дамами и барышнями.

Когда я из своего карантинного помещения с интересом смотрела на улицу, я никак не могла предполагать, что совсем близко, на Пречистенском бульваре, в который упирается Сивцев Вражек, живет моя мать, Александра Гастонов-

на Шереметева, уже прочно вошедшая в то московское общество, которое дефилировало перед моими окнами. Мне потом часто приходило в голову, что, может быть, в те дни она проезжала по Сивцеву Вражку, направляясь с визитом к какой-нибудь баронессе Бистром или Голицыным-Сумским, и не знала, что ее Таня, которую она считала такой далекой и недостижимой, находится тут и смотрит на нее сквозь замерзшие зимние рамы.

Ограничиваюсь здесь лишь беглым упоминанием о моей матери, так как я буду говорить о ней в другом месте, и возвращаюсь в дом Зезивитовых. Пока я болела скарлатиной, дедушка Александр Александрович чуть не умер от первого и очень сильного припадка грудной жабы. Когда я, похудевшая, выросшая и остриженная под машинку, спустилась из своего мезонина, то услышала рассказы об ужасных часах удушья, едва не сведших дедушку в могилу. Однако на этот раз все обошлось благополучно.

Во второй половине января за мной приехал папа и отвез меня в Петербург. Шурик к тому времени тоже поправился, и наша жизнь вошла в обычную колею.

В течение нескольких лет наши зимы мало отличались друг от друга – зато каждое лето было своеобразно, так как весною мы неизменно уезжали в какую-нибудь новую местность. Так, лето 1899 года мы провели в двенадцати верстах от Тарусы. Тетя Лиля Чебышёва, которая жила это лето с на-

ми, очень любила природу, причем эта любовь была не созерцательной, а деятельной. Под ее руководством мы собирали гербарий, в картонных коробочках выводили бабочек и воспитывали зайчат и тушканчиков. Когда же тетя Лиля, надев широкополую шляпу, взяв с собой большой парусиновый зонт, мольберт и складную скамеечку, отправлялась писать пейзажи, мы увязывались за ней, помогая нести ее художественные принадлежности. Из Москвы иногда приезжал ее учитель живописи Николай Авенирович Мартынов, благообразный старик с большой белой бородой. Дедушка Александр Александрович высоко ценил творчество Мартынова, который, как я потом поняла, был более трудолюбив и добросовестен, чем талантлив (хотя два его больших полотна «Ледоход» и «Лесной пожар» были куплены Румянцевским музеем).

В следующем году наше семейство в том же составе (бабушка и дедушка Сиверс, тетя Лиля и мы) жило на берегу Клязьмы в имении члена Московской городской управы Николая Николаевича Щепкина. Тут же отдельный домик занимала мать владельца Александра Владимировна, урожденная Станкевич (сестра писателя Станкевича и жена сына знаменитого актера Щепкина). Эти подробности я узнала позднее, а в то время воспринимала нашу соседку лишь как строгую старушку, имевшую трех совершенно черных кошек.

К нашему приезду в Тимонино дедушка приготовил нам с братом сюрприз. Нас ждала лошадка-пони и маленький ша-

рабан. Радуюсь подарку, мы не подозревали, что это последнее лето, которое мы проводим с дедушкой. Полтора года спустя, в апреле 1902-го, в день Вознесения, дедушка скончался от второго приступа грудной жабы. Произошло это близ Малого Ярославца Калужской губернии. Папа и дядя Никс Чебышёв успели только к похоронам, которые состоялись в Москве, на кладбище Введенские горы.

Смерть дедушки, кроме горя утраты, принесла большие осложнения материального характера: квартира в Сивцевом Вражке подлежала ликвидации, дедушкины лошади, птицы, рыбы и пальмы были распроданы, и бабушка Надежда Петровна переехала в небольшую квартиру в Штатном переулке. Вскоре пришло и другое печальное известие: в Калуге внезапно умерла сестра Юлии Михайловны – Александра Михайловна Полторацкая; Юлия Михайловна должна была нас покинуть, чтобы воспитывать племянников.

На семейном совете решили, что осенью я не вернусь с дачи в Петербург, а останусь с бабушкой и тетей Лилей в Москве и поступлю в первый класс Арсеньевской гимназии.

В конце августа 1902 года я рассталась с отцом и Шуриком и начался мрачный год моей жизни, воспоминание о котором до сих пор мне тягостно. Моя судьба в этот период напоминала судьбу тех «сироток», которые описываются в сентиментальных английских повестях. Эти девочки попадают во власть недоброжелательных родственников, терпят преследования каких-то злодеев, находятся в состоянии уничи-

жения, но потом все выясняется, правда торжествует и наступает счастливая развязка. Роль «злодеев» при мне исполнялась горничной Полей, имевшей влияние на бабушку, и офицером одного из стоявших во Владимире полков Петром Ивановичем Поляковым, имевшим влияние на тетю Лилю. Горничная Поля воспитывалась при монастыре, дискантом пела «Гора Афон, гора святая» и представляла собою законченный тип ханжи, приживалки с тонкими губами и змеиной душой. Учитывая ситуацию, она всячески клеветала на меня перед бабушкой, причем перечень моих недостатков сопровождался обычно глубоким вздохом и словами: «Яблочко от яблони недалеко падает!»

Петр Иванович Поляков появился в доме только после смерти дедушки, от которого скрывали, что тетя Лиля разводится с Чебышёвым и собирается вторично выходить замуж. Бабушка не очень любила дядю Никса, но когда она увидела нового будущего зятя, то поняла, что вторая беда будет хуже первой. Однако тетя Лиля не поддавалась никаким уговорам, ради любви жертвовала всем и порывала с людьми, которые (как например, Маклаковы) не одобряли ее выбора.

Поляков происходил из простой семьи, но слово «мезальянс» не только не останавливало, но даже подзадоривало тетю Лилю, которая была и оставалась до конца дней человеком больших чувств.

Отрицательных черт Петра Ивановича она в ту пору не видела и была всецело подчинена его воле. Сказав, что Поляков

выполнял при мне роль злодея, я употребила это слово очень точно: он был злодеем по существу (конечно, в рамках, возможных для бедного армейского офицера). Денщики перед ним дрожали. Имея прекрасного сенбернара, Петр Иванович хвастался, что ударами плетки может заставить его съесть лимон. Культ «воли» Поляков ставил выше всего и умел добиваться цели. Женясь на моей тетке, он решил создать себе какое-то положение в жизни и выдержать экзамен в Академию Генерального штаба, что было нелегко, поэтому зимой 1902–1903 года, пока шел развод с Чебышёвым, вечера в Штатном переулке проходили так: тетя Лиля вышивала на пяльцах (она была прекрасная рукодельница), а Поляков читал вслух лекции по фортификации.

Внешне он был неприятен: небольшого роста, плотный, с бесцветным, тронутым оспой лицом, серыми холодными глазами и светлыми волосами ежиком. Меня он возненавидел с первого взгляда, и я все время жила под гнетом его презрения, которое он не давал себе труда скрывать.

За зиму, проведенную в Москве, характер мой резко изменился: из веселой общительной девочки я стала замкнутой, забитой, потеряла веру в себя. Одевали меня преднамеренно скверно, желая в корне пресечь любовь к нарядам, которую я могла унаследовать от матери; я жила в одной комнате с Полей, которая меня ненавидела. Отдушиной в этой тяжелой домашней атмосфере явились новые, захватившие меня, гимназические впечатления. (О гимназии Арсеньевой

я буду говорить в особой главе.)

Ввиду того что бабушка была в глубоком трауре, в Штатном переулке она почти никого не принимала. По воскресеньям подавали коляску, и она ехала на могилу к дедушке, где был уже поставлен большой черный мраморный крест. К обеду появлялась ее дальняя родственница Калагеорги, называвшаяся просто «генеральша», и приносила все городские новости. Бездетная вдова лет пятидесяти, генеральша (Евгения Николаевна Бурдукова) жила в «Лоскутной» гостинице и была страстной поклонницей Малого театра вообще и Александра Ивановича Южина-Сумбатова в частности. Она не пропускала ни одной премьеры, неизменно сидела во втором ряду партера и подносила венки юбилярам.

Когда генеральша, шурша тяжелым шелковым платьем, появлялась у нас в гостиной, разговор сразу переходил на театральные темы. Ермолова, Лешковская и, главным образом, Южин не сходили у нее с языка, и сумбатовские пьесы «Измена», «Джентльмен» и «Мисс Гобс» комментировались на все лады. Когда я много лет спустя напомнила Александру Ивановичу о его поклоннице «генеральше», он, смеясь, сказал, что из всех психопаток она была самой постоянной и самой бескорыстной. И вот этой смешной особе пришлось сыграть благодетельную роль в моей судьбе (но об этом несколько позднее).

Единственный мой выезд в свет в эпоху Штатного переулка принес мне и радость, и муку, длившиеся целый год.

Когда я, еще маленькой девочкой, бывала в Москве, отец возил меня к Мартыновым. (Виктор Николаевич Мартынов, инспектор кавказских и крымских удельных имений, был его большим приятелем.) Коренная московская семья эта родственными или дружескими узами была связана с целым рядом прогрессивно-дворянских семейств: Толстыми, Сухотинными, Трубецкими, Соллогубами. Софья Михайловна Мартынова (урожденная Катенина) была, несомненно, умна и гордилась дружбой со многими знаменитостями, среди которых были Лев Толстой и Владимир Соловьев.

Когда я в первый раз побывала у Мартыновых, они занимали особняк в Неопалимовском переулке. Через два дома от них жил Николай Авенирович Мартынов, художник, о котором я уже упоминала и который рассказывал, что его скромные посетители очень пугаются, когда звонят к другим Мартыновым и им отворяет дверь черкес с газырями и кинжалами.

Детей Мартыновых было много: Георгий и Дмитрий, в том 1902 году – студенты, Надя, серьезная барышня лет шестнадцати, Вера на год старше меня, Маруся – на два года моложе и совсем маленький Борис. Кроме своих детей, Мартыновы воспитывали троих детей Шереметевых, опекуном которых был Виктор Николаевич.

У Мартыновых всегда бывало весело, и потому я очень обрадовалась, когда в Штатном переулке появилась горничная Софии Михайловны Маша с письмом к бабушке, в ко-

тором меня приглашали на целый день по поводу чьих-то именин. Меня отпустили, хотя и не очень охотно, и я отправилась с Машей на Малую Дмитровку в дом Катковых, куда к этому времени переехали Мартыновы. Маша была старой девой, но не в пример нашей Поле отличалась добродушием. По дороге она мне говорила: «Знаете, барышня, нет на свете несноснее мухи да девушки-вековухи», но мне она казалась совсем не несносной, а даже очень милой.

Когда двери нам открыл тот же черкес, что был в Неопалимовском переулке, и я поднялась во второй этаж, то увидела вещь дотоле мне незнакомую: зимний сад. Пока я рассматривала пальмы и каменный бассейн, вбежали Вера Мартынова и Марина Шереметева и, как старые знакомые, повели меня в свои комнаты, находившиеся на антресолях. Двенадцатилетняя Марина была рослой круглолицей румяной девочкой с прекрасными, совершенно круглыми карими глазами, за что ее называли «толстый мопс». Вера, худая и бесцветная, напоминала свою мать монгольским складом глаз и скул. Характер этих двух девочек был так же различен, как и их внешность. Марина была порывиста, бескорыстна, склонна ко всяким экстравагантностям, Вера – умна, хитра и уже в детские годы проявляла снобизм, который неожиданно проглядывал из-под общего тона простоты, принятого в семье.

На Маринином столе стоял портрет красивой молодой женщины – это была ее мать, сестра генерала Скобелева, умершая молодой. Другая рамка из красного сафьяна в виде

ширмы вмещала две детские фотографии. Это были Марина и ее сестра, снятые в Италии.

На антресолях Марина и Вера принялись показывать мне полученные ими в подарок японские игрушки, которые имели вид палочек, но, будучи брошены в воду, распускались в различные фигуры-цветы. Вскоре нас позвали вниз, где уже начали собираться гости, и я впервые увидела милостивую девочку с вьющимися волосами, Верочку Базилевскую, а также трех хорошеньких сестер в одинаковых темно-красных бархатных платьях – это были Тата, Элла и Ольга Клейнмихель. Несколько позднее появилась Татя Трубецкая, с живым, умным личиком, ни минуты не сидевшая на месте, а потом пришли ее двоюродные братья Саша Глебов и Толя Кристи и еще много мальчиков и девочек.

После чая была устроена детская лотерея. Помню, как мне хотелось выиграть банку с черносмородиновым вареньем и подарить ее бабушке в пику Петру Ивановичу, которого она несколько раз безрезультатно просила достать ей такое варенье; однако этой банки я не выиграла. После обеда, за которым к супу подавались очень вкусные жареные пирожки в виде шариков и Софья Михайловна читала вслух письмо, полученное от кого-то из Толстых из Ясной Поляны, я в сопровождении Маши вернулась домой.

Мои восторженные рассказы обо всем виденном и слышанном встретили у бабушки очень холодный прием; я же напряженно стала ждать, когда Мартыновы снова за мной

пришлют. Однако проходили недели, а потом и месяцы, а никто не появлялся. Тут начались мои терзания: Петр Иванович Поляков, презрительно сощутив глаза, сказал за столом: «Таня, наверное, так вела себя у Мартыновых, что ее больше не хотят приглашать!» Эта обида легла на дно моей души и разъедала ее как ржавчина железо вплоть до того дня, когда, много времени спустя, Софья Михайловна Мартынова сказала при мне маме: «Мы бы всегда рады были видеть у себя Таню, но Надежда Петровна с такой неохотой ее к нам отпускала, что я не решалась настаивать!» Тут наконец я сочла себя реабилитированной.

Зима 1902–1903 годов наконец миновала, и весной бабушка наняла дачу в совсем неинтересном месте, которое называлось Храброво и принадлежало каким-то Болошевым.

В деревне мое положение еще ухудшилось: из Петербурга приехал Шурик, и предпочтение, оказываемое ему, было настолько явным, что я дошла до полного отчаяния и собиралась бежать, рассчитывая в пути продать черные часики, подаренные мне Екатериной Константиновной Рихтер. В середине лета Поляков появился уже в качестве мужа тети Лили; он заискивал перед Шуриком и по-прежнему ненавидел меня.

Нервы мои были напряжены до крайности, и я чувствовала, что долго так продолжаться не может. Из обрывков разговоров между бабушкой и тетей Лилей можно было уловить, что в моей судьбе намечаются какие-то изменения. До меня

долетали фразы, что кто-то им «отплатил черной неблагодарностью» и они «пригрели змею на груди». Больше я ничего понять не могла, но потом узнала, что «генеральша», встретив маму в Малом театре, рассказала о моем печальном положении, и та написала отцу, прося и настаивая на передаче меня ей.

В конце августа мы вернулись в Москву. Из Петербурга приехал папа и 25 августа на могиле дедушки на Введенских горах объявил мне, что я перехожу к матери. Тут я впервые увидела слезы на его глазах. Душа моя разрывалась от самых противоречивых чувств, я просила его взять меня в Петербург, отдать в Институт, словом, я была в полном смятении, так как образ матери являлся для меня чем-то очень неясным и расплывчатым. А когда вечером того же дня мама приехала за мною в гостиницу «Дрезден», где остановилась бабушка (квартира в Штатном была ликвидирована), этот образ сразу принял в моем сознании те очаровательные формы, которые он сохраняет и по сей день.

Бабушка встретила взволнованную и растроганную маму с холодным достоинством, а выплывшая откуда-то Поля успела съехидничать, сказав: «А Танечка все равно от Вас убежит!» Однако я не убежала, и началась моя счастливая и интересная жизнь на Пречистенском бульваре.

В семье Шереметевых

Борис Сергеевич и Ольга Николаевна Шереметевы, родители моего отчима дяди Коли, жили в Москве у Сухаревой башни, занимая большой двухэтажный флигель в саду Странноприимного дома графа Шереметева, или, как просто говорилось, Шереметевской больницы.

Борис Сергеевич родился в 1822 году, служил в Преображенском полку, за свою красоту был прозван в Петербурге Адонисом, отличался большой музыкальностью, написал известный романс на слова Пушкина «Я вас любил», выйдя из полка, служил по выборам, промотал и свое состояние, и состояние жены и, под конец дней, жил на покое в должности главного смотрителя Странноприимного дома, попечителем и, по существу, хозяином которого был его родной племянник (сын сестры) граф Сергей Дмитриевич Шереметев.

Чувство родственности было чрезвычайно развито в семье Шереметевых. Глава богатой и «вельможной» линии, граф Сергей Дмитриевич, человек очень своеобразного и подчас крутого нрава, нигде и ни в ком не допускавший и не встречавший противоречий, с неизменным почтением приезжал на поклон к дяде Борису Сергеевичу, а к своим бедным родственникам Алмазовым относился так, будто между ними не было никакой разницы ни в общественном, ни в материальном плане. Щедрость, благородство и широта на-

туры были настолько признаны за родом Шереметевых, что появилось выражение «на Шереметевский счет».

Одновременно отмечалось, что Шереметевы, в большинстве случаев, более благородны, чем умны, и что многих из них в конце концов губит наследственная склонность к вину. В подтверждение первого суждения указывалось на то, что в конце 80-х годов в громадной семье Шереметевых только двое – мой отчим Николай Борисович и граф Павел Сергеевич – окончили высшие учебные заведения. Все остальные учились «чему-нибудь и как-нибудь» и выходили на военную службу. В полку и в обществе громкое имя, благородная внешность и присущая всем Шереметевым музыкальность возмещали некоторую примитивность мышления.

Понять и запомнить родословное дерево Шереметевых довольно трудно, потому что две сестры Бориса Сергеевича внесли путаницу, выйдя за Шереметевых же: Анна Сергеевна – за графа Дмитрия Николаевича, а Екатерина Сергеевна – за Алексея Васильевича. Сыновья Екатерины Сергеевны: Василий, Владимир, так называемый «конвойный», и Сергей (старше Владимира) – наместник на Кавказе.

Особенно интересны две женские судьбы, причастные к этой семье: судьба дочери фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, графини Натальи Борисовны, жены князя Ивана Алексеевича Долгорукова, доблестно поехавшей за мужем в ссылку в эпоху гораздо более жестокую, чем времена декабристов, и кончившей жизнь схимонахиней Некта-

рией, и судьба крепостной актрисы Шереметевского театра Прасковьи Ивановны Жемчуговой, ставшей в 1801 году женою графа Николая Петровича Шереметева. Последний случай нашел несколько видоизмененное отражение в русской народной песне «Вечер поздно из лесочка» (крепостная девушка встречает барина, проезжающего в коляске – «две собачки впереди, два лакея позади». Барин ее останавливает, спрашивает, какого она села, и, в конце концов, женится на ней).

Линия Шереметевых, к которой принадлежал дядя Коля, была когда-то богата. Прадед его владел 35 тысячами десятин земли при селе Волочанове Волоколамского уезда, но состояние быстро таяло в руках расточительных владельцев. После блестящей и бурно проведенной молодости Борис Сергеевич вынужден был жениться по расчету на дочери богатого московского помещика Николая Павловича Шипова. Невеста оказалась сильно некрасива, и брак этот, несомненно, не мог считаться счастливым. Однако Ольга Николаевна, будучи очень религиозной и обладая покладистым, неунывающим характером, стойко переносила все невзгоды и с детской наивностью утешалась теми небольшими радостями, которые судьба посылала на ее долю. Старший сын Шереметевых, названный по традиции в честь деда с отцовской стороны Сергеем, умер маленьким. Второй сын, названный в честь дедушки Шипова Николаем, и был моим отчимом. За ним следовали братья Борис и Василий и сестра Да-

рья. Лучшие воспоминания детей Шереметевых были связаны с поместьем Волочановым, где семья проводила большую часть года до тех пор, пока имение в 80-х годах не было продано на покрытие карточных долгов. (Борис Сергеевич все вечера проводил в Английском клубе за игрой.)

Мальчики учились в Катковском лицее, но в учении не очень преуспевали. Лет с четырнадцати Николай так приистрастился к охоте и к театру, что эти склонности красной нитью прошли через всю его жизнь. В своих вкусах он был крайне демократичен и прост, так же как и в обхождении с людьми. Он ненавидел всякую неестественность, напыщенность, светскость. Другьями его юности были Саша Обухов (Александр Трофимович), сын помощника отца по управлению Шереметевской больницей, и Саша Федотов (Александр Александрович), сын знаменитой артистки Гликерии Николаевны Федотовой.

Постоянные спектакли, в которых он участвовал, отвлекали его от учения, однако он сознавал, что без службы ему не обойтись, а для того чтобы служить, надо иметь законченное образование. Эти соображения заставили Николая Борисовича покинуть Москву и поступить в Демидовский лицей в Ярославле, где сдать выпускные экзамены было легче, чем при Московском университете. Бывая в то время в Москве наездами, он вступил в созданное Станиславским «Общество искусства и литературы», играл в нескольких постановках и сошелся с третьим другом юности – Владимиром Ми-

хайловичем Лопатиным.

Внешность Николая Борисовича была очень сценична: прекрасные голубые глаза, высокий лоб, волнистые, откинутае назад волосы. Несколько неправильный нос, унаследованный от матери, не портил в ту пору его красивого лица. Присущая всем Шереметевым музыкальность сказалась и в нем. Он прекрасно пел цыганские романсы, аккомпанируя себе на гитаре.

Таким был Николай Борисович, когда в 1895 году приехал в Петербург и поступил на службу в Главное управление Уделов. Когда через три года он объявил о своем намерении жениться на разволившейся женщине, имеющей двоих детей, это известие разразилось как удар грома. Полагаю, что между родителями и сыном произошел не один тяжелый разговор с цитатами из Священного Писания, увещеваниями и угрозами. Однако Николай Борисович был непреклонен и впоследствии никогда не вспоминал о том, чего ему стоили эти дни.

В конце концов победа его оказалась полной: осенью 1898 года мама получила приглашение от родителей Шереметевых поселиться у них, пока не закончится развод. Ее появление у Сухаревой башни растопило лед. Она сумела очаровать всех, вплоть до прислуги. Экономка Груша, жившая в доме сорок лет, сказала: «Ах, Александра Гастонова – настоящий бюст!», видимо, желая сравнить маму с мраморной статуей.

Читая позже о появлении при мадридском дворе, исполненном вековых условностей и незыблемых правил этикета, веселых французских принцесс, я всегда вспоминала приезд мамы в семью Шереметевых. В Испании несчастная принцесса неизменно погибала под гнетом этикета. Здесь же такого не произошло, и французская общительность полностью восторжествовала. Новая *belle-fille* имела дар оживлять общество, в котором находилась. Она говорила с собеседником о том, что интересовало его, а не ее самое, и это элементарное правило светскости пленило Москву, которая всегда была большой, милой, но неповоротливой провинцией.

К началу 1899 года развод завершился, и мама тут же венчалась с Николаем Борисовичем в домовый церкви Шереметевского странноприимного дома. На свадьбе были только свои, семья. Из Петербурга приехали сменившие гнев на милость бабушка и дедушка. Мама венчалась в светло-сером суконном платье с белыми розами. После свадьбы молодые поселились на Пречистенском бульваре в казенной квартире Удельного ведомства, куда к этому времени были доставлены из Петербурга мамины вещи. Среди них находился ее рояль и прекрасная столовая цельного красного дерева. В спинках и сиденьях обеденных стульев, в английской манере, были вделаны соломенные сетки, и в одной из таких сеток двухлетний Шурик карандашом провернул небольшую дырочку. Этот стул пользовался у мамы особым почетом. Она говорила, что пролила над ним немало слез, когда в продол-

жение пяти лет нас не видела. Скептики при этом, может быть, пожимали плечами и замечали: «Tu l'as voulu, Georges Dandin!», но я не принадлежу к их числу и по опыту знаю, что страдание, в котором мы сами виноваты, ничуть не легче стихийных бедствий⁶.

Вполне веря, что мама нас часто вспоминала, я все же должна отметить, что первые годы ее замужества были очень счастливыми. Я еще застала тот золотой век, когда, расставаясь на два-три часа, дядя Коля так крестил и целовал маму, как будто она уезжала на Северный полюс. Это делалось при всем честном народе, в любой фешенебельной гостиной, и подчас вызывало добродушную усмешку присутствовавших; но дядя Коля не выносил никаких чужих норм, и всякое подлаживание под мнение света было для него неприемлемым. Маму он в ту пору очень любил и не считал нужным это скрывать.

Приступы бунтарства против светских условностей находили на дядю Колю совершенно неожиданно, и маме, не разделявшей этого образа мыслей, всегда приходилось его сдерживать. Не могу забыть случая в Венеции во время одной из наших заграничных поездок. Мы обедали в общем зале «Hotel d'Europe». Лепные потолки с фресками, обед из семи блюд с очень маленькими порциями, хрустальные рюмки на высоких ножках, вместимостью с наперсток, и, главное, пара

⁶ «Ты этого хотел, Жорж Данден!» – слова главного героя одноименной пьесы Мольера, подразумевающие, что герой сам виноват в своих бедах.

англичан, чопорно сидевших против нас — он в смокинге, она в декольтированном платье, — столь раздражающе действовали дяде Коле на нервы, что он среди обеда бросил салфетку, выскочил из-за стола и отправился дообедывать в трапезную с гондольерами, откуда пришел через час в полном восторге. Такие демократические вкусы совершенно не мешали ему обладать благородством манер и речи, которые, в силу наследственности и воспитания, были неотделимы от его существа.

Светское московское общество в конце 1890-х, в начале 1900-х годов группировалось вокруг генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и его жены, бывшей в расцвете своей красоты.

В доме на Тверской и в Нескучном они давали блестящие (по московским масштабам) приемы, получив приглашение на которые, маме стоило больших трудов уговорить дядю Колю ими воспользоваться. Дядя Коля не любил балов, скучал на них, не танцевал и, найдя какого-нибудь приятеля, сидел с ним у кружона. Мама же веселилась и имела неизменный успех.

Самыми блестящими кавалерами в Москве, за отсутствием гвардии, считались адъютанты великого князя и его чиновники особых поручений по должности генерал-губернатора. Среди первых выделялся своим красивым лицом и неприятным характером Владимир Сергеевич Гадон.

Но я уклонилась в сторону и снова возвращаюсь к семье Шереметевых. Как я уже говорила, у дяди Коли были два брата и одна сестра. Борис Борисович Шереметев отличался необычайно высоким ростом и назывался в Москве *le grand Boris*. Держался он очень прямо, что еще более подчеркивало его громадность. Однажды, когда он сидел в первом ряду на каком-то концерте, сзади раздались возгласы: «Сядьте, сядьте!» Чтобы успокоить публику, Борис Борисович, улыбаясь, встал во весь рост, что вызвало аплодисменты. Женился он поздно. В описываемое время он был холостым и жил с родителями, занимая отдельный домик в саду.

Борис Борисович был красив собою, но лицо его было неподвижным и маловыразительным. Всегда сдержанный и молчаливый, он мог быть подчас удивительно остроумным. Помню, как однажды все спускались по большой лестнице к обеду. Борис Сергеевич уже не выходил к общему столу и обедал у себя. Его камердинер, старичок Александр, неся наверх прибор, уронил вилку. Борис Борисович совершенно спокойно ему заметил: «Александр! Сегодня папá на лестнице кушать не будет!» Это было сказано в тоне дельного указания, глуховатый Александр никак не мог понять, в чем дело, а мы умирали от смеха.

Второй брат, Василий Борисович, был некрасив собою, но прост и приятен в обращении. Пользуясь расположением Владимира Федоровича Джунковского, он был его помощником по попечительству о народной трезвости. С же-

нитьбой Василия Борисовича дело тоже обошлось не совсем гладко. Когда он заявил, что собирается жениться на дочери начальника станции Вешняки, родители, считая, что невеста не подходит к общему тону семьи, воспротивились этому браку. По их настоянию митрополит запретил священникам Московской епархии венчать Василия Борисовича с девицей Евгенией Алексеевной Романович. Препятствие это было обойдено тем, что Василий Борисович обвенчался в полковой церкви у военного священника и поставил своих родителей перед совершившимся фактом.

Жена дяди Васи умерла молодой, оставив четырех детей на попечение бонны Марии Николаевны Ивашёвой, которая доблестно выполняла возложенную на нее судьбой миссию. Василий Борисович собирался на ней жениться, но этого не удалось осуществить, так как Мария Николаевна трагически погибла от воспламенившегося в ее руках примуса. В продолжение целого ряда лет дядя Вася с детьми летом жил в Кускове, в Оранжереинном доме, который предоставлял в его пользование граф Сергей Дмитриевич.

Единственная дочь Бориса Сергеевича и Ольги Николаевны Дарья (тетя Даня) не отличалась красотой, но сочетание благородства натуры с детской простотой составляло невыразимую прелесть. Дарья Борисовна уже считалась в Москве старой девой (ей было 27 лет), когда в качестве жениха появился приехавший из Петербурга Александр Сергеевич Федоров. По внешности и внутренним данным он пред-

ставлял собой полную противоположность намеченной им невесты. Это был красивый, холеный мужчина сорока пяти лет – то, что французы называют «un beau»⁷, очень поживший, очень занятый своей карьерой. На нем лежал отпечаток чиновного Петербурга, отпечаток, который был всегда так чужд Москве. Окончив Александровский лицей, он служил по министерству внутренних дел. Денежные обстоятельства его были запутаны, но Александр Сергеевич умел выходить из положения с ловкостью виртуоза и вел широкий образ жизни.

Женитьба на Дарье Борисовне, не принося ему материальных благ, давала блестящие связи и обеспечивала продвижение по службе. В сватовстве Федорова значительную роль сыграл схимник Троице-Сергиевской Лавры отец Варнава, к советам которого часто прибегала Ольга Николаевна. Старец не только благословил брак Дарьи Борисовны, но, кажется, даже указал на Федорова как на желательного жениха.

Ольга Николаевна была в восторге от будущего зятя. Особенно ценила она его религиозность и качества примерного сына. Александр Сергеевич действительно прекрасно относился к своей матери, жившей в принадлежащем ей домике в Никольском переулке, на Арбате.

Борис Сергеевич проявлял меньше энтузиазма по поводу брака дочери, однако предложение Федорова было принято, и свадьба состоялась в июне 1900 года. Получив неза-

⁷ Щеголь, денди (франц.).

долго до этого назначение на должность чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, Александр Сергеевич нанял меблированную квартиру в доме Варгина на Тверской и перевез туда жену. Справедливость требует отметить, что к своим семейным обязанностям Александр Сергеевич относился очень добросовестно. Дарья Борисовна была окружена заботой и комфортом. Ее требования, подчас даже деспотические, выполнялись беспрекословно.

В первые годы, пока не было детей, в центре внимания Дарьи Борисовны было здоровье мужа, страдавшего диабетом. Она настаивала на самой строгой диете. Во время обеда у Сухаревой я с состраданием наблюдала, как Александр Сергеевич безропотно ел подаваемые ему на отдельном подносе картофельное пюре без масла и кислые печеные яблоки без сахара. Злые языки говорили, что в других местах он вознаграждал себя за эти диетические рационы, но если это и делалось, то так, что семейный мир не был нарушен.

В 1903 году у тети Дани родилась дочь Екатерина и полтора года спустя – сын Сергей. Примерно в это же время Александр Сергеевич был назначен московским вице-губернатором, но пробыл на этом посту недолго. В 1908 году он заболел душевным расстройством на почве прогрессивного паралича и умер ненормальным в 1910 году.

В конце 1903 года, в момент моего переселения на Пречистенский бульвар, Николая Борисовича не было дома. Он находился в служебной командировке – на ревизии удельных

имений, и я ждала его возвращения с некоторым волнением. Но когда он, в болотных сапогах, с охотничьим ружьем за плечами, приехал с поезда, я увидела, что он растроган и взволнован не менее, чем я, и между нами сразу установились те прекрасные отношения, которые не дали ни одной трещины за одиннадцать лет совместной жизни. Характер у дяди Коли был нелегкий, он был подвержен приступам гнева, которых следовало избегать, но я чувствовала, что он раз и навсегда включил меня в свою душу, и эта уверенность меня никогда не покидала. Иногда мама предлагала не брать меня среди зимы в заграничную поездку, чтобы не прерывать школьных занятий, но дядя Коля неизменно категорически заявлял: «Если не поедет Таташа – я тоже не еду!» И я, конечно, ехала.

У стариков Шереметевых я встретила исключительно теплый прием. Вначале это отношение, может быть, было обусловлено этическими причинами, сознанием какой-то доли вины передо мною, но впоследствии вся семья меня просто полюбила, без всяких моральных предпосылок, что было гораздо лучше.

По воскресеньям у Сухаревой садилось за стол не менее двадцати человек; съезжались все родственники и много посторонних. Ежедневно обедал дежурный врач больницы. Ольга Николаевна, проявлявшая ко мне большую нежность, часто просила отпустить меня к ней с утра. В таких случаях я, в сопровождении горничной Даши, сестры жившей у

Ольги Николаевны Дуняши, приезжала к девяти часам, от-
стаивала обедню в домовой церкви, пила с Ольгой Никола-
евной кофе в ее маленькой столовой наверху (большая сто-
ловая была внизу) и шла гулять в сад, который занимал деся-
тину, простираясь от террасы дома до каких-то переулочков,
выходивших на Первую Мещанскую. Весной этот сад покры-
вался несметным количеством подснежников, образовывав-
ших сплошной голубой ковер. Перед балконом бил фонтан,
а в заднем конце находились грядки с клубникой.

К завтраку из своего флигеля приходил Борис Борисович,
которого я гордо называла своим другом. Он был ко мне уди-
вительно мил в те годы, играл со мной на китайском бил-
лиарде, водил в цирк. За обедом я всегда старалась сесть с
ним рядом. В нашем конце стола обычно группировались
врачи больницы: приятель Бориса Борисовича Борис Глебо-
вич Лебедев, приятель дяди Коли профессор Голубинский,
мой приятель хирург Аркадий Александрович, который ле-
чил меня от всех болезней: вырезал гланды в горле, опериро-
вал аппендикс и с детских лет внушил мне интерес к хирур-
гии. Аркадий Александрович был красив, симпатичен и все
его любили. Наша с ним единственная размолвка произошла
в тот день, когда он прочитал этикетку на стоящей перед ним
бутылке кюрасо по-латыни «куракао», а я возмутилась тем,
что он не учел «с».

Хозяина дома Бориса Сергеевича до обеда, подававшего-
ся в 6 часов, никто, кроме его камердинера, не видел. Его

распорядок дня был весьма своеобразен: он вставал не ранее 4-5 часов дня, долго совершал свой туалет, обедал, принимал рапорт делопроизводителя больницы Ильи Семеновича Петухова, вечером играл в винт или пикет с кем-нибудь из гостей. Когда все расходились, он читал «Московские ведомости», просматривал отчеты по больнице и, страдая бессонницей, принимался бродить по дому, ища какого-нибудь собеседника.

Ольга Николаевна, всю жизнь страдавшая мигренями, жаловалась, что иногда во время этих ночных странствований Борис Сергеевич подходил к ее кровати, будил ее и спрашивал: «Оленька! Не болит ли у тебя голова?» – на что она вполне резонно отвечала: «До сих пор не болела, но теперь, несомненно, заболит!»

Лицо Бориса Сергеевича до последних дней хранило следы красоты. На всей его внешности, на манере говорить лежал отпечаток *d'un grand seigneur* минувших времен. Все в доме его побаивались и шепотом передавали друг другу, в каком настроении он находится, в духе или не в духе. Гостеприимный по природе, Борис Сергеевич любил, когда у него собиралось много народу, но в последние годы сам уже не выходил к столу. Он страдал подагрой, передвигался с трудом и постоянно сидел в гостиной с ногами, укутанными клетчатым пледом.

Тем более неожиданным было, когда незадолго до своей смерти он вдруг вышел в залу, сел к роялю и заиграл свой

романс «Я вас любил». Все его дети были тут и подхватили мелодию. Я слушала, затаив дыхание. И слова, и музыка казались мне непревзойденной красоты. Много лет спустя, в глухую морозную ночь, на краю света, я услышала те же звуки по радио. Надя Обухова пела романс Бориса Сергеевича. В ту пору я совершенно разучилась плакать. Чувствующий аппарат моей души был как бы выключен действием защитных сил, что давало возможность какого-то существования. Но тут, при первой фразе, я остолбенела, потом мгновенно осознала действительность, прелесть прошлого, ужас настоящего, горечь обид. Томящая боль дошла до предельных глубин, и хлынули слезы, заливая подушку.

Я уже говорила, что Ольга Николаевна видела много тяжелого на своем веку, но вкуса к жизни не потеряла; она была общительна, легка на подъем. Не отнимая лорнета от своих подслеповатых глаз, она любезно принимала гостей и с удовольствием играла по маленькой в карты. Ходила она быстро, легко, напевая про себя фразу из вальса «Louis XV», если была в хорошем настроении.

Осенью и весной наступали периоды, которые она называла «перелетом птиц». Петербургские родственники – Тимашевы, Мирские, Голицыны, Шереметевы, Булыгины – ехали в южные имения, останавливались на несколько дней в Москве и заезжали к Сухаревой. В один из таких «перелетов» я увидела чету Булыгиных – Александра Григорьевича, грузного человека с бакенбардами, и его жену Ольгу Нико-

лаевну, худую, «как рыба кость». Так как я в это время учила басни Лафонтена, то тихо сказала маме, когда они вошли в гостиную: «Le Chene et le Roseau»⁸. Кто-то это услышал и передал Булыгину, который пришел в восторг и торжественно повел меня под руку к столу, жалуясь, что Таня назвала его «дубиной».

Часто к обеду приезжал Дмитрий Сергеевич Трепов на известной всему городу «серой пристяжной». Иногда он бывал со своей красавицей женой Софьей Сергеевной, урожденной Блохиной, но чаще один.

Однажды мы опаздывали к обеду. Мама волновалась, так как Борис Сергеевич любил садиться за стол ровно в 6 часов. Дорога была скверная, снегу выпало мало, полозья наших саней скрипели по трамвайным рельсам, и мы бесконечно долго тащились по Большой Лубянке и Сретенке. Около Сухаревой, где по воскресеньям шла большая торговля, нас вдобавок задержал какой-то уличный скандал. За столом, вся под впечатлением этого переезда, я обратилась к Трепову со словами: «Вам, как градоначальнику, должно быть интересно узнать, что Ваши городовые поймали вора. Мы видели, как они тащили какого-то ребенка, впрочем, не совсем ребенка, ему было лет сорок...» Тут я зарапортовалась, и взрыв хохота не дал мне договорить.

Это было перед рождественскими каникулами. Вскоре я должна была получить отметки за 2-ю четверть и ехать в Пе-

⁸ «Дуб и тростник».

тербург к папе, о чем с восторгом рассказывала за обедом. Каково же было мое удивление, когда на следующий день, возвратившись домой из гимназии и с бальником под мышкой, гордая наполнявшими его пятерками, я увидела ждущего меня городского. Этот городской вручил мне бумагу, в которой значилось, что «девице Татьяне Сиверс воспрещается выезд из Москвы, так как она должна фигурировать в качестве свидетельницы по делу о поимке „сорокалетнего ребенка“». Трепов и Борис Шереметев решили меня разыграть.

По воскресеньям днем к Ольге Николаевне иногда заезжала вторая дочь Трепова, Таня. Ей было лет восемнадцать, она была прелестной и подарила мне свою карточку с трогательной надписью. Думается, я была тут для отвода глаз и истинной причиной ее посещений Сухаревой и нежности ко мне был Борис Борисович. Ольга Николаевна думала то же самое. Ей нравилась мысль иметь Таню Т. в качестве *belle-fille*. Мы обе старались помочь делу, уходили из комнаты, «чтобы не мешать», но наши труды не увенчались успехом. Борис Борисович молчал как убитый или, вернее, как старый холостяк, которым он уже становился, если не по внешности (он был очень моложав), то по годам.

Своеобразной фигурой у Сухаревой был дальний родственник Шереметевых Константин Борисович Алмазов – молчаливый скромный человек лет пятидесяти, бедно одетый, часто небритый. Он вдруг исчезал на некоторое время, потом снова появлялся. Никто точно не знал, где он живет.

Говорили, что он страдает запоем и несколько раз даже сидел в сумасшедшем доме. Один раз мы встретили его, идущего без шапки по Сретенке и во весь голос расппевающего псалмы. По существу же Константин Борисович был очень достойным человеком – большим знатоком русского языка и старинных русских обычаев. Иногда он нарушал молчание и изрекал какую-нибудь цитату или своеобразное стихотворение собственного сочинения на совершенно неожиданную тему, например о тарифах в бане.

Ежегодно 21 февраля в Странноприимном доме происходило своеобразное торжество. После заупокойной литургии по его основателям – воспетой в народной песне графине Прасковье Ивановне и ее муже – устраивалась беспроегршная денежная лотерея в пользу неимущих невест. Затем следовал грандиозный поминальный обед. Гостей принимали граф Сергей Дмитриевич и графиня Екатерина Павловна, которые приезжали к этому дню из Петербурга со всей семьей.

В 1904 году я впервые присутствовала на этом торжестве. Домовая церковь и прилегающие залы были полны народом. Золото военных и придворных мундиров и светлые платья дам придавали этому сборищу весьма колоритный вид. К началу богослужения, совершаемого митрополитом при участии протодиакона Розова и синодального хора, прибыли великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Ели-

завета Федоровна: он – высокий, худой, с неприятным, маловыразительным лицом, она – стройная, красивая, приветливая. После обедни, когда все перешли в соседний зал, где стояли столы с кулебяками, икрой и всякими подходящими для духовенства закусками, я попала в окружение почетных гостей и, по указанию Ольги Николаевны, принялась заниматься разговором преосвященного Анастасия. Узнав, что меня зовут Татьяной, митрополит спросил, как я провела бывший недавно свой день именин. Я принялась с увлечением рассказывать, что получила в подарок жаровню и маленький медный таз для варки варенья. Подошедший великий князь Сергей Александрович тут же осведомился, какое варенье я больше всего люблю, и разговор продолжался еще некоторое время в таких же наивных тонах; потом все перешли в актовый зал, где на возвышении стояли «неимущие невесты». Эти девушки были должны по очереди подходить к урне и брать билетик, на котором была обозначена сумма от 50 до 200 рублей. По выходе замуж, согласно завещанию Прасковьи Ивановны, эти девушки получали павшую на их долю сумму с шереметевского счета.

По окончании официальной части великий князь и его жена уехали, и начался бесконечный поминальный обед, причем тут уж я сидела на дальнем конце с докторами больницы и чувствовала себя просто и весело.

Меньше чем через год после описанного мною дня в Кремле разорвалась бомба Каляева, которой был убит вели-

кий князь Сергей Александрович. Елизавета Федоровна, находившаяся в Николаевском дворце, услышала взрыв, выбежала на площадь и увидела тело мужа, разорванное на куски. По общим отзывам, брак ее с великим князем не был удачным, а наоборот, таил в себе большую драму, но картина взрыва оказалась так ужасна, что великая княгиня резко порвала со светом и ушла в круг духовных интересов. Много толков, и в большинстве своем недоброжелательных, вызвало в московском обществе ее посещение Каляева. В чем состояла беседа, длившаяся два часа, осталось неизвестным, но по выходе из тюрьмы Елизавета Федоровна подала царю ходатайство о помиловании. Люди называли этот ее поступок позой, исканием популярности и всячески осуждали женщину, у которой, по евангельскому изречению, недостойны были развязывать ремешки на обуви.

Из всех петербургских Шереметевых, проводивших день 21 февраля 1904 года в Москве, ярче всех мне запомнилась старая графиня Екатерина Павловна, урожденная княжна Вяземская, внучка друга Пушкина, и две молодые дамы, которые на первый взгляд показались мне похожими друг на друга. Я тихо спросила у мамы: «Две сестры?» – на что мама ответила: «Нет, две красивые сестры!» Это были: старшая дочь графа Шереметева Анна Сергеевна Сабурова и жена его сына Петра Елена Богдановна, урожденная баронесса Мейендорф.

Графине Екатерине Павловне в ту пору было за пятьдесят,

и она одевалась уже по-старушечьи. Я всегда видела ее в костюме английского покроя, цвет которого менялся в зависимости от случая. Безупречно красивые черты ее лица, высокая, плотная, несколько сутуловатая фигура и спокойные без всякой аффектации манеры производили впечатление благородства и простоты. Из разговоров у Сухаревой башни можно было понять, что роль Екатерины Павловны в семье оставалась пассивной и воля ее в большинстве случаев подавлялась бурным и деспотическим нравом мужа. Припоминая рассказ о мелком, но характерном эпизоде на Фонтанке или в Михайловском. Вздумав как-то проверить счета буфетчика и увидав, что на стол тратится ежедневно более пуда сливочного масла, графиня Екатерина Павловна нашла это количество чрезмерным и попросила его сократить. Домовая челядь отомстила ей самым коварным образом: на следующий день графу Сергею Дмитриевичу не был подан тот кружочек масла, который он привык есть за утренним чаем. На вопрос: «Что это значит?!» – дворецкий ответил: «Графиня приказали экономить масло». Последовавшая гроза навсегда отшибла у Екатерины Павловны охоту нарушать установившиеся порядки.

Не знаю почему, мне показалось в церкви, что Анна Сергеевна Сабурова и ее *belle-soeur* Елена Богдановна похожи между собою. Я, вероятно, была введена в заблуждение их одинаковыми белыми кружевными платьями и черными шляпами со страусовыми перьями. В 1904 году Елена Богда-

новна была очень молода. Ее большие голубые глаза поражали своей красотой, но за ними чувствовалась какая-то простоватость и даже примитивность. Анна Сергеевна же представляла собой полную противоположность понятиям «простота» и «примитивность». Она была утонченно обаятельна внешне и очень своеобразна внутренне. Принадлежа к тому типу женщин, из-за которых спокон веков лилось «много крови, много песней», она сознавала свою силу и, очаровав собеседника ослепительной улыбкой, любила озадачить его каким-нибудь совершенно неожиданным вопросом или суждением. Склонная к мистицизму, Анна Сергеевна ощущала в себе свойства древних сибилл – вплоть до ясновидения. Эти сибиллические черты возвышали ее в собственных глазах над общим уровнем, и она действовала в этом ключе, подчиняя своей воле очарованных окружающих.

Брак Анны Сергеевны Шереметевой, одной из первых невест в России, с ничем не выдающимся кавалергардом Сабуровым был заключен по ее личному желанию и вопреки воле родителей. Судя по рассказам, которые я слышала у Сухаревой, граф Сергей Дмитриевич, видя, что «нашла коса на камень», пожал плечами, сказал: «Твой вкус не мой вкус» – и дал свое согласие. Много лет спустя, в Калуге, вспоминая прошлое, Анна Сергеевна со свойственным ей неожиданным озорством вдруг сказала: «Выдавая меня замуж, родители были очень довольны от меня отделаться, они чувствовали, что со мной можно ждать всяких неприятностей, не то что с

сестрой Марьей, которая всегда была кроткой и покорной». Брак Сабуровых, по-видимому, оказался удачным. Александр Петрович благоговел перед женой и со страхом подходил к дверям ее комнаты, предварительно узнавая у ее любимого сына Бориса, в каком она настроении. Московские Шереметевы говорили: «Алик Сабуров очень недалекий», однако мой отец, который с ним впоследствии сталкивался по делам архивным и генеалогическим, ничего подобного не находил. Может быть, слишком яркая индивидуальность Анны Сергеевны была причиной того, что он производил впечатление «мужа королевы».

Революция застала Сабурова на посту петроградского губернатора. Из позднейших отзывов его подчиненного Александра Сергеевича Иваненко, служившего шлиссельбургским исправником, я могла заключить, что особыми административными талантами Сабуров не отличался. Во всех сколько-нибудь сложных случаях он прибегал к советам своего *beau-rere*⁹. Павла Сергеевича, наиболее просвещенного члена семьи Шереметевых.

Упомянутый мной Александр Сергеевич Иваненко происходил из обедневших курских помещиков, был человеком добродушным, медлительным и не лишенным некоторой хохлацкой хитрости. Зная о повышенном интересе своего начальника к родословным изысканиям, он, после очередного доклада, решил завести с губернатором разговор на

⁹ Шурин (франц.).

генеалогические темы и посмотреть, «какое у того будет выражение лица». Содержание разговора было таково:

Иваненко: — А ведь мы с вами, Ваше превосходительство, находимся в некотором родстве или, вернее говоря, в свойстве.

Сабуров (высокомерно): — То есть как это так?

Иваненко: — Ведь вы изволите быть женатым на графине Шереметевой?

Сабуров (еще более высокомерно): — Ну и что из этого?

Иваненко (не торопится с объяснением, чтобы понаблюдать, как нарастает гнев на лице его собеседника, и наконец изрекает): — Вот, изволите ли видеть, Шереметевы находятся в родстве с Тютчевыми, а моя мать, урожденная Тютчева... (За этим следует обстоятельное доказательство дальнего, но несомненного родства.)

Стрелка барометра, отмечавшего настроение Сабурова, мгновенно с деления «буря» перескакивает на «ясно». Доказанное родство, хотя бы самое дальнее, это своего рода тотем, священное понятие, с которым не шутят. Поэтому Александр Петрович, довольный тем, что не стал жертвой мистификации, примирительно подает Иваненко руку и говорит: «Так что же вы сразу не сказали, что это через Тютчевых?»

Возвращаюсь к 1904 году. Двадцать шестого января неожиданным порт-артурским нападением японцев заканчивается мирный период российского бытия и страна входит в полосу внешних и внутренних потрясений. С начала войны на Дальнем Востоке на улицах Москвы появились военные в косматых папах, стены и заборы украсились лубочными картинками патриотического содержания, а в домах люди передавали друг другу пущенную кем-то остроту: «Воюют макаки и коекаки». Однако, в силу того что война между этими двумя породами людей велась где-то за тридевять земель и из семьи Шереметевых никто не находился в действующей армии и во флоте, заметных изменений в укладе жизни окружавших меня людей не произошло. Великая княгиня открыла в Большом Кремлевском дворце склад Красного Креста, где московские дамы ревностно, хотя и не совсем умело, шили солдатское белье. (Мама предпочитала брать работу на дом, причем я была приставлена к изготовлению кисетов.) Вот и все.

Совершенно иначе мною стали восприниматься военные события, когда весною мы переехали в Аладино. Бабушка, для которой патриотизм не был внешне обязательной этикеткой, а составлял сущность ее цельной и горячей натуры, жила вестями с фронта. Кровно связанная через отца с русским флотом, она переживала морские неудачи с такой болью и вместе с тем с такой верой в конечную победу Андреевского флага, что мы все заразились этими настроениями.

Помыслы всех аладинцев были направлены к Тихому океану, где на знаменитом «Новике» плавал и сражался бабушкин любимый племянник Андрей Штер. Мы, то есть Сережа, Ника и я, пели «Варяга», знали наизусть имена всех русских и японских кораблей и восторгались подвигом «Стерегущего», а трагедия Цусимы была воспринята в Аладине как личное, незабываемое горе.

Осенью 1904 года был заключен Портсмутский мир и Россия вступила в полосу революционных событий. Все слои русского общества оказались вовлеченными в борьбу если не активную, то во всяком случае словесную. О политике говорили всюду. Различие политических убеждений стало тем мечом, который рассекал семьи на два непримиримых лагеря, порывая наилучшие отношения. При полном неумении русских людей корректно спорить, малейшее расхождение во взглядах переходило на личную почву. Летели фразы вроде «Только одни подлецы могут так думать!», и люди расходились врагами.

В силу своего уклада и вековых традиций, семья Шереметевых стояла на правом фланге этого идеологического фронта. Исключение составлял дядя Коля, либерально-демократические взгляды которого считались многими недопустимо левыми и приписывались влиянию его любимого дяди с материнской стороны Дмитрия Николаевича Шипова.

Однажды на уроке истории Степан Федорович Фортуна-тов, знакомя нас с выдающимися деятелями земства, поднял

палец и сказал: «О! Дмитрий Николаевич Шипов – это историческая личность». Гостя в Ботове, я рассказала об этом, и дядя Митя смеялся, узнав, что уже попал на страницы учебника. Не знаю, насколько сбудется прогноз Фортунатова о Дмитрие Николаевиче, но я вспоминаю о нем как о человеке исключительной души и большого ума.

В 60-х годах прошлого века состояние Николая Павловича Шипова (отца) состояло из большого дома на Лубянке, имений в Рузском и Волоколамском уездах и железных заводов в Нижегородской губернии. Кроме дочери у него было три сына: старший из них, Николай Николаевич, по окончании в 1865 году Александровского лицея вышел в кавалергарды, и вся его дальнейшая карьера была придворно-военной. С 1881 по 1884 годы он командовал кавалергардами, в силу чего сам он и его семья пользовались неизменным расположением императрицы Марии Федоровны (шефа полка) и были близки к Аничкину дворцу. Николай Николаевич женился на дочери Наталии Николаевны Гончаровой от ее второго брака с генералом Ланским. Софья Петровна не унаследовала красоты матери. У нее было правильное, но тяжелое, несколько одутловатое лицо.

Второй сын Николая Павловича – Филипп Николаевич – после недолгой военной службы вышел в отставку, женился на вдове Лидии Васильевне Хомутовой, через несколько лет разошелся с ней и поселился сначала в Нижнем, а потом в Москве, представляя собой тот тип неисправимо легкомыс-

ленного бонвивана, который описан Толстым в лице Стивы Облонского.

Младший из сыновей Шиповых – Дмитрий Николаевич, – сдав экстерном кандидатские экзамены в Петербургском университете, двадцати двух лет женился на Надежде Александровне Эйлер, правнучке знаменитого математика Леонарда Эйлера, и в полном согласии прожил с ней всю жизнь вплоть до 1920 года, даты смерти обоих супругов.

Если в 60-х годах шиповское состояние исчислялось в 9 миллионов, то за двадцать лет оно значительно пошло на убыль. В конце 70-х годов дела были уже запутаны. Николай Павлович понес крупные потери из-за краха одного из московских банков, во главе которого стоял некто Струсберг. Сыновья – Николай Николаевич и, главным образом, Филипп Николаевич – тратили много денег. За Филиппа Николаевича два раза отец платил крупные долги. Самый же сильный удар по шиповскому состоянию был нанесен, как ни странно, серьезным и скромным Дмитрием Николаевичем, который, имея доверенность отца, во время отсутствия последнего, по неопытности, субсидировал своего дядю Дмитрия Павловича Шипова суммой в миллион рублей. Деньги эти безвозвратно погибли, так же как и заводы Дмитрия Павловича, под которые они были даны.

В 1881 году Николай Павлович решил при жизни произвести раздел имущества между своими сыновьями. Дом на Лубянке продали Российскому страховому обществу. (И те-

перь там штаб-квартира КГБ. — *Прим. ред.*). Главная часть состояния — нижегородские заводы — досталась Николаю Николаевичу, который вместе с тем принял на себя погашение всех отцовских обязательств (в том числе выплату 200 тысяч рублей сестре Ольге Николаевне). Филипп Николаевич, после того как из денег, реализованных от продажи дома, в третий раз оплатили его долги, получил в пользование имение Осташево (без права продажи), а Дмитрий Николаевич — имение Ботово, где и поселился, занявшись сельским хозяйством и земской деятельностью (он был вскоре выбран председателем Волоколамской уездной управы, а впоследствии — Московской губернской управы).

Войдя во владение нижегородскими заводами, Николай Николаевич учредил при них нечто вроде опекунского совета, ведающего выплатой обязательств, но с проведением выплаты как будто не торопился. Я слышала, что Ольга Николаевна была даже вынуждена написать императору Александру III письмо, в котором всеподданнейше просила воздействовать на ее брата, который не платит долгов.

В начале 80-х годов у Николая Николаевича Шипова было пятеро детей (четыре дочери и один сын). Он был командиром кавалергардского полка. Все это требовало больших средств, а с деньгами бывало подчас так туго, что дело доходило до сдачи в заклад бриллиантов. Об этом знала императрица Мария Федоровна и, когда на торжественных приемах она не усматривала на плече Софьи Николаевны фрей-

линского шифра, то укоризненно качала головой и говорила: «Софи! Что, опять?!» Эти подробности я знаю от второй дочери Шиповых – Дарьи Николаевны, с которой я стала очень близка лет с шестнадцати. Если в силу материальных недо-разумений между Шереметевыми и семьей Николая Нико-лаевича и произошло некоторое охлаждение, то оно отнюдь не распространилось на племянницу Довочку, которую лю-били у Сухаревой за ее доброту, веселый характер и за то, что «в ней нет ничего петербургского» (в устах московских Шереметевых это было большой похвалой).

В первый раз я увидела Довочку, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, на обеде у Филиппа Николаевича Шипова, который в то время был управляющим московским отделением Дворянского банка и жил в казенной банковской квартире на Садовой-Спасской. Дарья Николаевна вместе со своим мужем Петром Николаевичем Давыдовым (внуком партизана) остановилась на несколько дней в Москве, проездом из своего саратовского имения за границу, и объезжала родственников. Когда она, очень высокая, стройная, в чер-ном гладком бархатном платье с высоким воротом, с круп-ными бриллиантами в ушах и улыбающимися глазами вошла в столовую, я почувствовала в ней если не петербургский, то во всяком случае и не московский тон. В ту пору Довочка была очень *lady-like*.

Петр Николаевич, шумный, говорливый, подвижной, был на полголовы ниже жены. За столом он покрывал все голо-

са своими громкими и блестящими французскими фразами, произносимыми с большим апломбом. После обеда, оглушив нас столь же громкой, бравурной игрой на фортепьяно, он уехал в клуб, где его ждала карточная игра. (Давыдов был страстным игроком и одним из основателей Нового клуба в Петербурге на Дворцовой набережной. В этом клубе произошел большой скандал, когда Давыдов уличил генерала Галла в нечестной игре.)

Дарья Николаевна относилась к мужу дружески-спокойно. На обеде у дяди Филиппа она после его отъезда весело продолжала шутить с окружавшими ее двоюродными братьями Шиповыми и Шереметевыми и как будто не замечала его отсутствия. В 1910 году Давыдов скоропостижно умер, сравнительно молодым человеком. Дарья Николаевна осталась независимой, богатой вдовой. Детей у нее не было. Я не знаю, как это случилось, но в 1912 году мы с ней, несмотря на разницу лет, оказались большими друзьями, причем Довочка меня всячески баловала. Широкая и добрая по натуре, она относилась ко мне с детской непосредственностью и прямолинейностью. Прямолинейность мышления доходила у нее до маниячества, а маниячество с годами развивалось по одной строго определенной линии. К сорока годам Довочка казалась уже не совсем нормальной, и люди невольно вспоминали, что ее мать, Софья Петровна, несколько раз заболела серьезным душевным расстройством.

Idée fixe Довочки была крайне своеобразна: выросшая в

эпоху Александра III и близкая к его двору, Дарья Николаевна привыкла ставить Россию превыше всего, любить Францию и ненавидеть Германию. Ее ненависть к Германии впоследствии перешла на персону Вильгельма II и отчасти на императрицу Александру Федоровну. Повсюду ей мерещились германские козни, и даже мелкие личные неудачи она приписывала действию «темных немецких сил». Спорить на эту тему было бесполезно. Вильгельм подкупал ее горничных, которые, по его заданию, доставляли ей всевозможные неприятности: чаще всего рвали новые чулки. Лекарства из аптеки тоже в любой момент могли быть «им» подменены какой-нибудь отравой. Дарья Николаевна торжествовала, когда разразившаяся в 1914 году война как будто оправдала ее предвидения германской опасности.

Но я забежала на целое десятилетие вперед. О том, как мы с Девочкой отмечали столетие Отечественной войны на Бородинском поле, я буду говорить позднее, а пока, в виде компенсации за устремление вперед, хочу повернуть лет на пятнадцать назад и перенестись в обстановку придворных балов времен Довочкиной юности и вспомнить два экспромта, записанные Мятлевым в ее *carnet de bal*. Отнюдь не преследуя цели щеголять в своих записках чужим остроумием, я привожу эти стихи, которые запомнила со слов Дарьи Николаевны, только на тот случай, если сам автор о них забыл и они не будут помещены в полном собрании сочинений в разделе «юношеские произведения».

*И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой
Когда-то Пушкин воспевал;
Но рост такой большой, как Довочки Шиповой,
Он вероятно не встречал.
Тогда бы навсегда порвал он струны лиры,
Отбросил далеко пастушечью свирель
И, пробку сняв с своей прадедовской рапиры,
Голицына бы вызвал на дуэль¹⁰.*

Осенью 1905 года грянули первые революционные раскаты; необходимость реформ висела в воздухе. К власти призывали князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского, который в качестве министра внутренних дел должен был объявить «политическую весну». В семье Шереметевых (за исключением дяди Коли) его деятельность (или, вернее, намерения) не вызывали никакого энтузиазма. Говорили: «Пепка Мирский – прекрасный человек, но какой же это государственный ум?!» Видя, как рушатся незыблемые устои русской жизни, Борис Сергеевич моральную ответственность за этот беспорядок крайне наивно возлагал на отдельных «левонастроенных» лиц своего же класса, вроде Дмитрия Николаевича Шипова, Георгия Евгеньевича Львова, Павла Долгорукова.

Большие толки вызвало в то время «либеральничанье»

¹⁰ Какой это был Голицын, я точно не знаю. Знаю только, что он был моряком и что его звали Борисом. – *Прим. автора.*

графа Нессельроде, который творил в Саратове какие-то невообразимые вещи, вплоть до раздачи земли крестьянам, и, что еще хуже, отправился с Павлом Долгоруковым в Париж с целью уговорить французов не давать денег русскому правительству. За это последнее Нессельроде был лишен придворного звания.

Когда эта весть дошла до Москвы, она явилась поводом к бурной сцене в семье Шереметевых, в центре которой совершенно случайно оказалась мама. У Сухаревой обедал проездом через Москву граф Сергей Дмитриевич Шереметев. После обеда все поднялись, как всегда, в гостиную к Борису Сергеевичу, и мама, без всякой задней мысли, спросила: «Не знаете ли вы, за что снято придворное звание с графа Нессельроде?» (Она действительно ничего не знала ни о самом Нессельроде, ни о его деятельности и никак не могла предполагать, что десять лет спустя Шурик женится на его внучке.) Граф, будучи с утра разъярен новым примером деградации дворянства, усмотрел в мамином вопросе сомнение в справедливости постигшей Нессельроде кары. Кроме того, он вероятно (и совершенно ошибочно) приписывал маминому влиянию либеральный образ мыслей своего двоюродного брата, считая, что спокон веков всякое вольнодумство исходит из Парижа. Во всяком случае, охваченный приступом неукротимого гнева, он закричал:

«Как за что?! Неужели предательство Нессельроде – недостаточная к тому причина? Это ваши революционные взгля-

ды губят Россию!» и т. д. и т. п.

Дядя Коля, который был подвержен таким же приступам гнева, как и его двоюродный брат, не заставил себя долго ждать и закричал не менее громко, что он запрещает говорить со своей женой в подобном тоне. До меня, находившейся в зале, доходили раскаты весьма крупного разговора. Тут же, не дожидаясь чая, мы уехали к себе на Пречистенский бульвар. На следующий день родители Шереметевы, крайне недовольные происшедшей накануне ссорой и обеспокоенные возможными неприятными последствиями (они находились в материальной зависимости от племянника), вызвали к себе сына и предложили ему написать Сергею Дмитриевичу извинительное письмо. Два дня дядя Коля ходил взад и вперед по кабинету, крутя спадавшую на лоб прядь волос, что было признаком глубокого раздумья, но письма не написал.

Опасения стариков Шереметевых были напрасны. Переводить моральное недовольство в область денежных отношений было совершенно не в стиле графа Сергея Дмитриевича – он был выше этого. Единственным следствием вышеописанной размолвки стало то, что на целый ряд лет отношения между дядей Колей и им были порваны. Только в 1912 году, когда мы оказались на хорах Дворянского собрания по поводу какого-то торжественного заседания, посвященного Бородинской битве, Сергей Дмитриевич первый подошел к нам, поздоровался и потом сказал кому-то из окружающих его родственников, настолько громко, что я слышала: «Ка-

кая у Саши милая дочь!»

В конце декабря 1906 года умер Борис Сергеевич, и с его смертью закрылась красочная страница моих отроческих воспоминаний, связанная с жизнью Шереметевых у Сухаревой башни. Уже с осени Борис Сергеевич стал заметно слабеть, а с декабря начал заговариваться. И наяву, и в бреду главной думой его были революционные события в России, с которыми он никак не мог примириться. Когда кто-то пожаловался в его присутствии, что на улицах Москвы развелось много хулиганов, он вздохнул и сказал: «Вокруг престола много хулиганов, вот что нехорошо! – Потом посмотрел на портреты предков и добавил: – Если бы они сошли со стен, что бы они сказали!»

Похороны в Ново-Спасском монастыре были очень торжественные. Преосвященный Трифон (Туркестанов) произнес надгробное слово, могилу покрыли грудой венков: от «преображенцев», от дворян Московской губернии, от служащих Странноприимного дома. День был ясный, морозный. Возвращаясь с похорон, я была грустна и печально глядела сквозь сетку закрывавшего мне лицо оренбургского платка на сверкающие купола Кремля и Замоскворечья. Я вспоминала, как Борис Сергеевич встречал меня после некоторого перерыва (болезнь, летние каникулы), ласково трепал по щеке, говорил, что я выросла, и тут же добавлял стереотипную немецкую фразу: «Сорняки всегда растут». Мне представлялось, что эти слова он уже тысячу раз говорил

всем детям семьи, что это был тот милый ритуал, через который прошли в свое время и дядя Коля, и дядя Борис (доросший до 2 аршин 14 вершков¹¹), и мне нравилось быть сопричастной всей этой детской компании давно минувших дней.

С такими грустно лирическими мыслями я села за поминальный обед, накрытый в зале Странноприимного дома, и была буквально ошеломлена, когда между жареной осетриной и дрожащим на блюде бланманже сильно подвыпившее духовенство затянуло «Вечную память». Относясь с большим уважением к старорусским обычаям, я никогда не могла привыкнуть к этому пережитку языческой тризны – поминкам, которые мне всегда казались чем-то неприличным. И теперь, когда русский народ с такой легкостью отрекся от прежних традиций, я с удивлением вижу, что обычай коллективной еды и питья у открытой могилы остался во всей его неприкосновенности.

Летом 1905 года дядя Коля отказался от двухмесячного отпуска, чтобы использовать его зимой на заграничную поездку. План этого путешествия разрабатывался с осени, и заранее были заказаны круговые билеты, что было удобнее и дешевле. По настоянию дяди Коли я была включена как непременно участница этой поездки. Наше отсутствие из Москвы должно было захватить рождественские каникулы и январь месяц; даже разразившееся в Москве вооруженное восстание не могло разбить этих планов. Моя первая поезд-

¹¹ 213 см.

ка по Европе вспоминается как веселая интермедия в эпоху, полную тревоги и напряженной борьбы, потому я посвящаю ей отдельную главу, выключенную из общего хода повествования, а здесь хочу сказать лишь несколько слов о нашем отъезде из Москвы, описание которого не совсем подходит для «веселой интермедии».

Все железные дороги бастовали, за исключением Николаевской, охраняемой войсками; решили ехать на Петербург, где к нам должны были присоединиться бабушка, дедушка и Сережа. На вокзал мы пробирались окольными путями, так как через центр города не пропускали. У дверей вокзала стояли две пушки, все залы были заняты солдатами, со стороны Пресни доносилась стрельба. Дядю Колю и маму смущала мысль, что наш отъезд могут принять за «бегство с тонущего корабля», и они усиленно подчеркивали, что поездка наша была решена задолго до революционных событий и никакого отношения к ним не имеет.

В Петербурге политическое напряжение ощущалось не так сильно, но все же одиннадцатилетний Шурик, вернувшись из Тенишевского училища, показал мне тетрадь, где было записано «Отречемся от старого мира» и «Вы жертвою пали». Под Двинском кто-то обстрелял наш поезд из пулемета, но на этом все злоключения кончились, и мы перешли в сферу «веселой интермедии».

Первая поездка за границу

Когда наша семья, путешествуя по Европе в составе шести человек, принадлежавших к трем поколениям, занимала места в вагоне, это сопровождалось значительным шумом: *grand-taman* суетилась, дядя Коля ругался на заграничные порядки, Сережа пытался смешить публику каламбурами, мама просила своих спутников не напоминать «наших за границей» из книги Лейкина и только *grand-papa* сохранял невозмутимое спокойствие.

Покинув Москву в декабрьские дни вооруженного восстания, мы прибыли в Варшаву как раз на праздник католического Рождества. Все музеи и магазины оказались закрытыми, и мы, прокатившись по центру города и переночевав в гостинице, двинулись дальше. Мои первые впечатления от Вены были чисто обывательскими: в окнах не полагалось двойных рам и потому дуло из всех щелей, и Дунай, который я, согласно карте, ожидала увидеть в центре города, оказался где-то на окраине. Только побывав в соборе Святого Стефана и увидев скульптуру Кановы на гробнице одного из Габсбургов, я согласилась, что Вена – хороший город.

По дороге из Вены на Венецию я не отходила от окна. Проносившиеся мимо тирольские ландшафты казались мне картинками из волшебного фонаря. Развалины замков на скалах, долины с высокими черепичными крышами, ост-

роконечные колокольни, крутые арки мостов, перекинутые через бурные речки, – все это напоминало иллюстрации к старой германской сказке, и в моей душе уже намечалось то приподнято-романтическое настроение, которое овладело мною полностью ко времени прибытия в Венецию. Ни разу мне не случалось приезжать туда днем, поэтому резкий переход от грохота поезда и суеты вокзала в тишину ночных каналов всегда производил на меня очень сильное впечатление. Даже самое слово «лагуна» таило в себе, на мой взгляд, какое-то очарование.

Помню, как в мой первый приезд в Венецию, с трудом отбившись от целой толпы носильщиков, гидов и нищих, мы спустились к воде и заняли места в большой черной гондоле с обитыми потертым бархатом скамьями, бронзовыми уключинами и традиционным гребцом на носу. Была лунная ночь, сначала мы вышли на *Canal Grande*, но вскоре, для сокращения пути, свернули в лабиринт мелких каналов. Гондола бесшумно двигалась по темной воде между отвесными каменными стенами, проскальзывала под легкими чугунными мостиками, скупо освещенными старинными решетчатыми фонарями. На все предметы ложились резкие черные тени. Тишина нарушалась всплесками воды, звуками гитары, окликающими гондольеров, за перилами мостов и балконов мелькали таинственные фигуры, и мое двенадцатилетнее сердце таяло от избытка красоты и романтики.

Очарование значительно уменьшилось, когда, выбрав-

шись снова на Большой канал в его нижнем конце, мы подъехали к «Hotel Danieli» и узнали, что там нет ни одного свободного номера. Гондольер повез нас в другую гостиницу, но и там нас ждал такой же ответ. В продолжение целого часа мы качались на волнах, тщетно ища пристанища. Портье неизменно говорил нам, что, ввиду наплыва туристов, все помещения заняты. С воды поднимался пронизывающий туман, всем хотелось спать. Дедушка беспокоился, что бабушка простудится.

В это время откуда-то с кормы раздался голос Сережи: «Eh bien! nous n'avons qu'y aller au Lido. Le lit sera d'eau, mais il y aura un lit quand même!» Этот неожиданный каламбур¹² в столь трагический момент вызвал бурю негодования. Теперь Сережа оказался в устах бабушки не только *vil plaisantin*, но и *garçon de cabaret*. Все эти эпитеты на Сережу мало действовали.

После долгих уговоров удалось наконец получить комнаты в «Hotel d'Europe» – гостинице на Большом канале, в двух шагах от площади Святого Марка.

Когда я проснулась на следующее утро, светило яркое солнце и Венеция предстала во всем своем блеске. Мы с мамой пешком направились к собору. В небольших магазинах под аркадами площади Святого Марка шла бойкая торговля местными товарами для иностранцев. Тут же я купила

¹² «Что ж, нам только и надо, что поехать на Лидо. Постель будет из воды, но все же это будет постель!» Игра слов: *lit d'eau* (франц.) – «водяная постель».

брошку из розового коралла, вазочку венецианского стекла в форме дельфина и двух бронзовых голубей. Живые ручные голуби стаями разгуливали по площади, садясь на плечи прохожим и нахально вырывая у них из рук пакетики с кукурузой, которые тут же продавали черномазые мальчишки.

По случаю хорошей погоды все кафе выставили столики наружу, и мы пили шоколад на улице. Когда, выйдя на Пьяцетту, я увидела сверкающее широкое водное пространство, белый купол Santa Maria della Salute, остров San Giorgio – всё то, что я с детства знала по гравюрам, меня охватил такой же восторг, как накануне ночью. Со второго дня пребывания в Венеции мы с бедекером¹³ в руках приступили к осмотру достопримечательностей и добросовестно посетили все места, отмеченные в указателе как наиболее интересные (что не мешало этому осмотру носить чисто обывательский характер). Мама уже ранее бывала в Венеции с моим отцом и признавала, что «Саша путешествует иначе: он уделяет больше времени музеям и меньше магазинам и кондитерским». С моей точки зрения, последнее было тоже нехорошо, однако впоследствии я убедилась в преимуществе папиного метода: ровно через год Шурик вернулся из заграничной поездки с отцом с такими солидными знаниями по искусству, о которых я не могла и мечтать.

Ко второму путешествию в Италию зимой 1908–1909 го-

¹³ Бёдекер – путеводитель, названный так по имени издателя Карла Бедекера (1801–1859).

да я была несколько более подготовлена: по совету папы я прочла заранее «Камни Венеции» Джона Рёскина и «Образы Италии» Павла Муратова. В 1913 году (дата третьей поездки) я уже училась в Строгановском училище и ходила по картинным галереям с видом знатока (правда, это был только «вид»). Но первые полудетские впечатления были, пожалуй, самыми яркими. В описываемую пору я могла равнодушно пройти мимо Тициана и Тинторетто, долго стоять посреди залы, где высоко под потолком располагались портреты дождей в порядке их преемственности, и со страхом смотреть на раму, предназначенную для изображения Марино Фальера, в которой вместо портрета чернела доска с надписью «Казнен за заговор против Республики»¹⁴, а потом проникаться еще большим страхом, глядя на круглые отверстия в каменном полу Моста Вздохов, через которые кровь казнимых стекала прямо в воды канала (так, по крайней мере, уверял наш чичероне).

Дядя Коля в музеях скучал и часто справлялся на часах, не время ли идти обедать. Так как он терпеть не мог фешенебельных табльдотов, то нашел маленький ресторан под названием «Bella Venezia», куда мы и отправлялись два раза в день. Дядя Коля неизменно заказывал себе «спагетти рома-

¹⁴ В 1365 году был издан указ, согласно которому имя Марино Фальера стерли с фриза в зале Большого совета, где выбиты имена всех дождей, и заменили надписью: «На этом месте было имя Марино Фальера, обезглавленного за совершенные преступления». Марино Фальер (1274–1355) – венецианский дож, в 80-летнем возрасте устроивший заговор с целью узурпации власти и казненный за это.

на» и кьянти в большом количестве, но специалитетом ресторана были *frutti di mare*: фритюр из маленьких рыбок, крабов, ракушек и всяких «морских червей», как их называла мама, относившаяся к этому блюду с предубеждением. Хозяин ресторана подарил дяде Коле на память белую фаянсовую пепельницу с надписью «Bella Venezia». Это вещичка всегда стояла у дяди Коли на столе и уцелела (вероятно, по причине своей малой ценности) до конца его жизни.

Из Венеции наш маршрут лежал на французскую Ривьеру. Мы должны были прямым путем ехать к старинной приятельнице бабушки m-me Bariquand (тете Шарля Альфана, впоследствии французского посланника в СССР), у которой была вилла в Ментоне. *Grands-parents* устали от переездов, дядя Коля спешил проверить свою теорию игры в рулетку, и поэтому мы, не останавливаясь в Милане, должны были там только пересесть с одного поезда на другой (багаж был отправлен прямо в Ментону).

Однако судьба решила иначе: подъезжая к Милану, мы узнали, что наш поезд опаздывает и на пересадку почти нет времени. Когда вагон остановился под громадным стеклянным куполом миланского вокзала, на нас набросилась ватага носильщиков с криками и жестикуляцией, из которых мы с трудом поняли, что поезд на Францию сейчас отойдет, что надо спешить и они поведут нас кратчайшим путем через рельсы. Носильщики схватили наши чемоданы и побежали,

мы – за ними. В результате этой гонки мы все потерялись. Дедушка и я оказались вдвоем на главной платформе, а все остальные спутники, чемоданы и носильщики исчезли. Дедушка, у которого были документы, билеты и деньги, совершенно правильно решил, что надо ждать в Милане, пока все остальные не отыщутся. Он заявил о своем местонахождении начальнику станции, и мы отправились в ближайший к вокзалу отель «Кавур», где я улеглась спать, а он стал ждать дальнейших событий.

Пока мы так спокойно реагировали на создавшееся положение, с нашими спутниками произошло следующее: после стремительного бега по подъездным путям носильщики посадили их в какой-то отходящий поезд, бросили им вслед чемоданы, захлопнули дверцы вагона, и поезд помчался. Каков же был их ужас, когда обнаружилось, что, во-первых, дедушки и меня нет, во-вторых, поезд идет не на французскую, а на швейцарскую границу, и, в-третьих, багаж, не выгруженный в Милане, ушел на Турин. Стоя в проходе вагона, бросаемые от стенки к стенке, бабушка и дядя Коля упрекали друг друга: «Коленька, это всё вы!» – «Нет, Александра Петровна, это вы!» Поезд неся во мраке ночи в неизвестном направлении, и кондуктор утверждал, что первая остановка будет не ранее чем через два часа. Положение создалось неприятное.

Наконец поезд подошел к станции, которая оказалась историческим местом: это была Павия. Мама, дядя Коля, бабушка и Сережа вышли на перрон, увитый плющом и ви-

ноградом. Поезд угрохотал дальше, и наступила полная тишина. Начальник станции мирно спал, и стоило больших трудов добиться у него аудиенции, а еще бóльших – объяснить ему, в чем дело. Перебивая друг друга, все четыре путешественника говорили: «Signor barba bianca con Signorina perdita Milano – les bagages aussi!»¹⁵ Итальянец был сильно выпивши, но слушал их с добродушной улыбкой. Затем он долго думал и наконец, на ломаном французском языке, произнес незабываемую фразу: «Старый джентльмен встретится, может быть, с девицей... – Жест неуверенности. – С багажом... – Категорический жест отрицания. – Никогда!» Это было так мило, что, забыв все распри и тревоги, все покатились со смеху.

При помощи благодушного начальника станции Павия, усадившего их в обратный поезд, бабушка, мама, дядя Коля и Сережа уже к утру были с нами в отеле «Кавур». Багаж тоже нашелся.

Вилла m-me Bariquand «Le Paradou» – конечная цель нашего путешествия – находилась в той части Ментоны, которая непосредственно прилегает к итальянской границе. Гостя там, мы с Сережей часто ходили к мосту St. Louis, соединявшему две страны в местечке Вентимилья. (С этого моста, как нам рассказывали, имели обыкновение бросаться в пропасть проигравшиеся жертвы рулетки.) Был январь месяц, и

¹⁵ «Синьор с белой бородой и синьорина остались в Милане, и весь багаж тоже!» (искаж. итал.).

Ривьера в это время находится во всей своей красе: лазурное небо, лазурное море, стены, увитые цветущими растениями, апельсиновые деревья со спелыми плодами – но всё так хорошо известно, что не нуждается в описании.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.